



АЛЕКСЕЙ НЕБОХОВ

НОЧНЫЕ НЯНИ

18+

Алексей Небоходов

Ночные няни

«Автор»

2026

Небоходов А.

Ночные няни / А. Небоходов — «Автор», 2026

Двадцатилетняя Аня с последними двумястами рублями прочла в местном паблике объявление: требуется няня, сто пятьдесят тысяч в месяц, жильё, интим с работодателем обязателен. В Недописецке, где кассиру платят двадцать восемь тысяч, и то с задержкой, на такое смотрят как на явление Христа народу. Аня пересчитала капитал и поехала. Дом богатый: снаружи семь окон, внутри девять. Хозяина не отражают зеркала, экономка докладывает тоном налоговой. Детские готовы, ночник-заяц горит. Детей нет. Их, как выясняется, няня родит сама: пункт седьмой договора, мелкий шрифт. Вторая няня Лиза клянётся, что ничего не подписывала. Подпись при этом её — с хвостиком у последней буквы. В подвале стоит скамья с выемками от коленей прежних нянь. Сколько их было, экономка не уточняет. Никто не догадывается, что из-за мелкого шрифта в центре Москвы начнётся настоящая война кланов суккубов и инкубов — с выбитыми окнами Сити и рухнувшими подземельями под Манежной.

© Небоходов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Няни на самообслуживании	5
Глава 1. Черновая улица	5
Глава 2. Покупка и приёмка	10
Глава 3. Две спальни	17
Глава 4. Беременности	22
Глава 5. Конец Ефгарфа	27
Глава 6. Дети на вырост	33
Глава 7. В школе недописецких пионеров	38
Глава 8. Просьба соблюдать спокойствие	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Алексей Небоходов

Ночные няни

Часть 1. Няни на самообслуживании

Глава 1. Черновая улица

Что бы ни говорили про наш Недописецк, а я его люблю. Не за то, что это Родина, с этим у нас как раз всё неясно. За будни. Будни здесь правильные, отработанные, их можно проверять на слух. В шесть за рекой бьёт чугунная заслонка котельной, пусто и тяжело, будто кто-то ударил ломом по ржавой бочке, и звук расходится над спящими кварталами, никого не будя. В семь спускается сосед сверху. Третья ступень у него скрипит, седьмая глухо стонет, одиннадцатая коротко и сухо хрустит, всегда одинаково, пятую он зачем-то перешагивает, я однажды ждал её звука до самой двери подъезда и не дождался.

К восьми на площади тормозят три мятые «газели». Борта латанные, из кузовов тянет дрожжами пополам с машинным маслом, и хлеб потом немного пахнет гаражом, но к этому привыкаешь. Продавщица в выцветшем синем халате с рукавами, засаленными до блеска, кричит «Горячий!» одним и тем же сорванным голосом. Вороны на проводах от этого крика не вздрагивают. Привыкли давно.

Зимой на шиферные крыши ложится снег, серый, без блеска, как войлок, и лежит до марта: оседает, темнеет пятнами под теми редкими трубами, которым ещё есть чем топиться. Летом на въезде стоит пыль, мелкая и едкая, как молотый кирпич. Оранжевые конусы у недостроенного моста покрываются ею до бурого цвета, и со стороны кажется, что они проржавели насквозь, честно дослужив до пенсии.

Лишнего у нас не водится: ни тепла, ни денег, а надежды и подавно. Оттого и дышится легче. Все дни похожи один на другой, все двери открываются одним ключом, если открываются вообще, а у входа в центр занятости висит стенд с пожелтевшими листками, который висел ещё при моей бабке, только кнопки с тех пор потемнели и расшатались. Будни у нас обкатанные, как маршрутка номер пять, которая ходит по расписанию тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года, хотя самого расписания давно нет и все это знают.

Старики на остановке рассказывают, что раньше был ещё город Писецк. От него остались обломки кирпича в огородах да ржавые таблички с полустёртыми буквами, которые находят при копке картошки. Писецк не исчез, его проглотил Недописецк, медленно и без остатка, как болото затягивает старую телегу: сначала колёса, за ними оглобли, потом и след.

Теперь на месте бывшей писецкой площади у нас автобусная остановка с провалившейся крышей и скамейкой, где сидят те же три старика, что и сорок лет назад, только лица их всё больше походят на высохшую глину. Вот так мы и живём: всё правильно, только всего немного «недо», будто кто-то не допил чай и оставил на дне холодную гущу.

А ещё именно у нас, в Недописецке, началась история, о которой теперь слагают легенды. И началась она с мелочей, каких в других городах не случается, потому что в Недописецке других и не бывает.

Батареи в доме топили плохо который день после аварии на теплотрассе. Та, что стояла в комнате Ани Савельевой, отдавала ровно столько тепла, чтобы вода в графине на подоконнике не схватывалась льдом, и ни на йоту больше.

Спать Аня давно привыкла в пальто, застёгнутом на все пуговицы, а одеяло стелила сверху скорее для приличия, как скатерть на праздничный стол, за которым праздника нико-

гда не случалось. Комната была девять метров. Хозяин, сдавая её, сказал: «Зато своя, никто не потревожит», и в этом смысле не обманул: тревожить квартирантку действительно было некому.

Лампочка над столом мигала. Она не гасла совсем, а именно мигала, короткой вспышкой раз в несколько секунд, будто внутри сидел кто-то усталый и всё решал, стоит ли продолжать светить. Аня давно перестала это замечать, как перестают замечать капель из неисправного крана: вспышки были частью комнаты и не нарушали тишины.

В семь, минута в минуту, сосед за стеной включал телевизор. По нему можно было сверять время надёжнее, чем по радио: сосед не опаздывал никогда, будто заключил персональную договорённость с диктором. Голос просачивался сквозь тонкую перегородку невнятным бормотанием, из которого различались отдельные слова: «сегодня», «продолжается» и «на местах». О чём шла речь, Аня не знала, но по интонации выходило, что что-то продолжается очень давно и кончаться не думает.

Иногда ей приходило в голову: не включит однажды сосед телевизор — значит, наступил конец света, и о нём тоже скажут «продолжается».

Она сбросила пальто, посидела на краю кровати, привыкая к воздуху, который касался к коже, как холодный металл, и подошла к столу. Кошелёк лежал на прежнем месте: перекладывать его не имело смысла, а бояться за него было незачем. Деньги Аня разложила на столешнице аккуратно, как раскладывают пасьянс: двести семнадцать рублей. Три монеты по десять отставила стопочкой отдельно, словно эти три монеты решали дело, а остальные — уже нет.

Мелочь до последней копейки она не считала: от последней копейки давно ничего не зависело. В интернате учили, что деньги любят счёт. Про то, что делать, когда считать нечего, наука умалчивала.

Долг за комнату составлял восемь тысяч, срок подходил послезавтра. Хозяин был человек не злой, но и не сентиментальный: о долге он говорил тем же тоном, каким рассказывал про батарею или про погоду, которая не обсуждается, а просто наступает.

— Занять у Марины, — сказала Аня вслух, без выражения, обращаясь то ли к стене, то ли к самой себе. — У Марины занять.

Мысль тут же разбилась: у Марины у самой было в обрез, и просить у неё значило просить у той, кто держится на поверхности тем же способом, что и ты, только подбородок чуть выше.

— В школу ещё раз.

Кран в ванной сначала чихнул воздухом, потом дал холодную. Горячей не было давно: в доме что-то сломалось, и на двери подъезда висела картонка «Починим на днях», надпись на которой уже дважды обводили поверх шариковой ручкой, чтобы не выплела. Аня держала ладони под струёй, пока не заломило пальцы. В школе ей отказали трижды. Третий раз она помнила по звуку: секретарша сшивала ведомости, степлер заело на словах «ставок нет», и она стучала им о край стола, пока скрепка не вошла, а потом договорила. Головы так и не подняла.

Вода обожгла холодом лицо коротко, почти приятно. Полотенце было жёстким и пахло сыростью.

Шарф она наматывала уже на лестнице.

С северного берега шёл фабричный гул, ровный, ритмичный, будто мерно дышала огромная равнодушная туша. У недостроенного моста в ботинок набился гравий, мокрый и острый. Аня остановилась, взялась за крайний оранжевый конус и, стоя на одной ноге, вытряхнула камешек; конус качнулся под рукой, поехал резиновым основанием по грязи, но устоял. Конусы стояли там же, где стояли всю её жизнь.

Ничего долговечнее временных мер в Недописежке так и не построили и вряд ли построят.

Въездной знак у поворота на центр опять стоял без последней буквы — та отвалилась снова, хотя перед выборами её вроде бы прикручивали. Аня прошла мимо не глядя. Знак она

видела так часто, что он давно перестал что-либо обозначать. Город, в конце концов, не обещал больше, чем мог выговорить.

Центр занятости размещался в длинном одноэтажном здании, облицованном плиткой двух несовпадающих оттенков: первую партию положили давно, вторую позже, когда денег хватило на похожий цвет, но не на прежний. Внутри пахло казённой бумагой. Этот запах Аня узнала бы с закрытыми глазами в любой точке страны: им пахли интернат, колледж и все прочие места, где решалась её судьба, причём решалась всегда одинаково.

На стене висел стенд с объявлениями, выцветшими так, что не разберёшь ни слова. Снимать их никто не собирался: рядом уже висело новое, а старые теряли смысл сами, без постоянной помощи.

Инспектор, женщина в очках, сидела за монитором так, будто монитор был единственным собеседником, достойным её внимания. Не поднимая глаз, она произнесла:

— Вакансий по вашей специальности нет.

— Я знаю, — сказала Аня.

— Переквалификация — через полгода. Запись открыта.

— Я записывалась в прошлый раз.

— Значит, вы уже в списке, — ответила инспектор тоном, каким объявляют, что автобус отменён, а следующий будет, когда будет.

— Спасибо, — сказала Аня и вышла.

Вечером она сидела за пустым столом в пальто: снимать его было незачем, потому что теплее в комнате не стало. Есть было нечего, и мысль о еде она отогнала привычно, как отгоняют муху, к которой уже притерпелись. В руках лежал телефон, трещина на нём шла от правого верхнего угла вниз, и угол этот давно перестал отзываться на прикосновения, сколько ни нажимай и ни три его рукавом.

Холод в комнате в этот час перестал быть просто температурой, казалось, он сделался веществом и оседал на языке, если вдохнуть поглубже. От экрана на потолке лежал тусклый прямоугольник света, вздрагивавший всякий раз, когда Аня переключала страницу. За стеной так и бормотал телевизор: сосед, видимо, засыпал под него, как засыпают под шум дождя, и голос диктора звучал теперь глухо, слов было не разобрать — просто фон, без которого тишина в доме казалась бы совсем уж полной.

Вакансии Аня листала большим пальцем, по одной, и там, где список заходил на мёртвый угол экрана, приходилось подтягивать его вниз и читать заново. Предложения были одни и те же. Она положила телефон экраном вниз. Прямоугольник на потолке погас. На стене напротив виднелся след от чужого календаря, снятого задолго до неё, светлый по краям, с дыркой от гвоздя наверху.

Слёз не было. Она смотрела на дырку от гвоздя, и то, что было решено давно, только теперь сложилось в слова, короткие, без надрыва: так больше не может продолжаться.

Утром пальто лежало на одеяле. Батарея по-прежнему числилась тёплой, но не грела. Телефон с трещиной ждал на столе экраном вниз, так, как умеют ждать только вещи: с вечера его никто не переворачивал, и недописецкое утро началось ровно с того, чем закончился вчерашний день.

Аня перевернула его и, не проснувшись толком, открыла список вакансий. «Кассир, график — пять через два, двадцать восемь тысяч рублей». Она посчитала, загибая пальцы на холодной руке: такая цифра закрывала бы долг месяца через три работы без выходных и без единой покупки продуктов сверх необходимого. «Уборщица, неполный день». Неполный день означал неполную зарплату, а полные зарплаты в Недописецке в последнее время выдавали только по праздникам, да и то как утешение. «Разнорабочий, вахта». Аня даже усмехнулась про себя, представив, как поедет вахтой куда-нибудь в область в своём единственном пальто, которое и здесь грело через раз.

Официальный список на этом исчерпался, и Аня открыла «Шабашку», местный форум объявлений, живший по собственным законам. Держал его, по слухам, кто-то из бывших работников закрывшейся типографии, модераторов там не водилось отродясь, и писали туда всё то, чего не принял бы ни один приличный сайт: «Куплю справку», «Продам гараж, документы спрашивать не надо», «Нужен человек посидеть с бабушкой, оплата дровами». Недописецк доверял «Шабашке» больше, чем центру занятости: ввали там реже, а если и ввали, то хотя бы интересно.

Дальше шло объявление. Оно ничем не выделялось: сухой шрифт, обычный кегль, никакого жирного начертания и никакой рамочки, словно набравший его не видел смысла привлечь внимание к ещё одной строчке в длинном списке однотипных предложений. «Состоятельный работодатель ищет няню для своих детей. Место работы: частный дом в Недописецком районе. Проживание предоставляется. Заработная плата: сто пятьдесят тысяч рублей в месяц».

Аня перечитала предложение дважды, проверяя, не изменится ли сумма, если смотреть внимательнее. Столько денег, по её представлениям, в Недописецке не получал никто, включая самого мэра городка.

Строчка ниже не пряталась, но и не бросалась в глаза: «Интимная близость с работодателем является обязательным условием трудоустройства».

Объявление целиком она прочла ещё три раза. Большой палец, которым она обычно листала дальше, завис над экраном, как рука над выключателем, когда ещё не решено, нужен свет или нет.

Аня поднялась резко — стул проехал ножками по полу — и подошла к окну. Двор внизу был обычным для таких домов колодцем: стены с четырёх сторон, бельевые верёвки, натянутые кем-то и забытые, мусорные баки, тополь, который давно пора было спилить, и клочок серого неба сверху, слишком маленький, чтобы определить по нему погоду. Аня стояла у стекла неподвижно и искала среди баков и верёвок подсказку, какой там никогда не было.

Стыд пришёл раньше решения и устроился под рёбрами, тихий и обстоятельный, как сосед за стеной. Аня знала за собой эту особенность: ненавидеть себя заранее, авансом, чтобы потом не отвлекаться.

— Ладно, — сказала она вслух, тихо, почти не разжимая губ. — Закрою глаза. Как будто ничего нет.

Фраза получилась неуклюжей и от этого немного смешной, но смешно ей не было. Она проговорила её ещё раз, про себя, повторяя ту же интонацию, и вернулась к столу.

Телефон Аня взяла другой рукой: первая, державшая его до этого, нажимала на цифры. Девушка набрала номер из объявления и стала слушать гудки, разглядывая три десятирублёвые монеты, так и лежащие отдельно от прочей мелочи.

Мужской голос ответил на третьем гудке. Голос был ровный и негромкий, без малейшего нажима: таким зачитывают список покупок, не переживая, забудет собеседник про масло или нет.

— Слушаю.

— Здравствуйте, — сказала Аня. — Я по объявлению. Про няню.

— Да. Вакансия актуальна, — последовала короткая пауза, ровно такая, какая нужна, чтобы придвинуть к себе лист бумаги. — Несколько вопросов. Фамилия, имя?

— Савельева Анна.

— Возраст?

— Двадцать.

— Образование?

— Педагогический колледж. Воспитатель, няня, гувернантка.

— Опыт работы с детьми?

— Практика в детском саду. И в интернате помогала с младшими группами.

— Близкие родственники?

— Нет. Никого.

— Хронические заболевания? Вредные привычки?

— Нет. Ничего такого.

Вопросы шли в том порядке, в каком идут графы анкеты, и ни один не звучал важнее другого: про родственников голос спросил тем же тоном, что и про образование. Аня отвечала коротко, держа телефон у уха и двигая стопочку десятирублёвых монет по столу туда и обратно, словно проверяя, на месте ли весь её капитал.

— А условия... — она замялась, подыскивая слова, которые поняли бы на том конце. — Условия именно такие, как написано?

— Именно такие, — подтвердил невидимый собеседник тоном, каким отвечают про размер оклада, а не про то, что стояло за словами про «обязательное условие трудоустройства».

— Хорошо, — сказала Аня.

— Приехать можно завтра, — продолжил собеседник. — Машина заберёт от автовокзала, в двенадцать. Скажете водителю фамилию, он будет в курсе.

— Хорошо, — повторила Аня.

Больше он ничего не добавил, и она не стала спрашивать сверх сказанного, как не уточняют планов у дождя: он просто идёт, потому что такова его суть. Аня отняла трубку от уха и посидела, не двигаясь, секунду или две, глядя на тёмный экран и ожидая, что тот вспыхнет снова и отменит весь предыдущий разговор. Телефон молчал: отменять что-либо было не в его правилах.

Странность разговора дошла до неё чуть позже. Работодатель выяснил всё про её здоровье и родню и ни разу не спросил, любит ли она детей.

Она встала, подошла к шкафу и достала сумку, старую, спортивную, с наполовину оторванной лямкой, которую когда-то подшила сама суровой ниткой, грубовато, зато крепко. Вещи складывала ровно, не торопясь и ни на чём не задерживаясь, будто выполняла давно придуманную последовательность: свитер, документы в потёртой папке, зарядка, свёрнутая кольцом, и смена белья поверх всего.

Двести семнадцать рублей Аня сгребла со стола в карман пальто. Три десятки отправились туда первыми, отдельно от прочей мелочи, как старшие по званию. Весь капитал поместился в горсть и даже не звякнул толком, но другого не было, а с последними деньгами не расстанутся даже по дороге туда, где они могут не понадобиться, и уж тем более по такой дороге.

Перед выходом она обвела комнату взглядом: кровать, стол, мигающая лампочка, холодная батарея и окно в серый колодец. Прощаться здесь было не с кем и не с чем, но горло на мгновение всё-таки сжалось, как при прощании.

Глава 2. Покупка и приёмка

Аня пришла к автовокзалу за час до назначенного времени. В зале ожидания топили, но там сидела кассирша, которая смотрела бы на неё всё это время, а на улице мороз хотя бы не притворялся, что ему есть до неё дело. Аня встала у будки и принялась читать расписание. Бумажка выгорела до желтизны, половина рейсов не ходила третий год, поверх неё была наклеена новая, а из-под новой торчал угол ещё одной. Недописецк не любил отменять прошлое, он предпочитал вешать новое поверх старого.

Машина пришла ближе к полудню, чёрная, с непроницаемыми стёклами, и по разбитому асфальту шла так гладко, будто дорога выпрямлялась под её колёсами то ли из вежливости, то ли со страху. Дверь приоткрылась сама, без единого жеста со стороны водителя, который сошёл бы за приветствие. Аня переложила сумку в левую руку и села. Интернат научил её главному навыку бедных: входить туда, куда пускают, не спрашивая, почему пускают именно её.

На заднем сиденье уже сидела женщина — тёмные волосы, выступающие скулы, губы сжаты так иронично, словно сюрпризов от жизни она давно не ждала. Женщина подвинулась ровно настолько, чтобы Аня поместилась.

— Ты тоже по объявлению? — спросила она первой, когда машина тронулась.

— Да, — Аня подтянула сумку ближе к себе.

— Я так и думала. Лиза.

— Аня.

Лиза отвернулась к окну: имена, выданные без рукопожатий, заменяют умным людям и знакомство, и сочувствие. Водитель ни разу не взглянул в зеркало: груз есть груз, на него не оборачиваются.

За стеклом кончились заборы и пошло поле, серое от торчащей сквозь снежный покров прошлогодней стерни, с чёрными проплешинами там, где сошёл снег. Аня держала сумку на коленях и перебирала через ткань: паспорт, диплом, зарядка, две пары белья. Она понимает условия и готова, это просто работа. Работа, и точка. Под ровной этой мыслью подтекало что-то ещё, и Аня не давала ему имени. Названное становится настоящим, а неназванное можно немного потерпеть: это она усвоила твёрдо ещё в казённых спальнях.

Глухой кирпичный забор вырос из-за деревьев. Ворота открылись беззвучно, и за рощей голых лип показался дом, каменный, двухэтажный и явно намеренный выглядеть на век старше, чем был на самом деле. На крыльце Аня задержалась и пересчитала окна второго этажа: девять. Из машины казалось, что их было семь. Считать в третий раз она не стала: предупреждения в её жизни давно ничего не меняли, человек с двумя сотнями рублей в кошельке слушает их, как прогноз погоды в чужой стране.

В холле было тепло, хотя источника тепла Аня не видела: ни батарей, ни решёток в полу. Пахло полиролью, а под ней — сухим каменным духом, как в старой церкви, только без ладана. Церковь без ладана звучала примерно, как няня без детей; эту мысль Аня решила не додумывать. Недодуманные мысли оставались единственным имуществом, которое у неё никто не отбирал.

Хозяин вышел навстречу сам. Высокий, худощавый и седой; возраст его лица определению не поддавался, а руки выглядели заметно моложе. В Недописецке мужчины старели наоборот: сначала руки, потом всё остальное.

— Здравствуйте, — голос оказался тем же, что в телефоне: негромкий, без нажима. — Я побеседую с каждой отдельно. Начнём, пожалуй, с вас.

Взгляд его, не оценивающий и не масляный, а совершенно ровный, был неуютнее всех прежних мужских взглядов, которые Аня помнила. Те хотя бы хотели понятного. Лиза осталась ждать в холле.

В гостиной горел камин — тихо, без треска дров, а зеркало над ним висело так, что, садясь в кресло, Аня в него не попадала. Хозяин сел напротив и раскрыл на коленях тонкую кожаную папку.

— Я — Ефгарф Калистратович, — сказал он. — Что бы вы потом ни услышали, запомните главное: имя я вам назвал. Образование?

— Педагогический колледж. Недописецкий.

— Опыт работы с детьми?

— Практика в интернате. Потом немного нянчила соседского малыша.

Он делал пометки, не записывая, а сверяя: ответы, данные по телефону, обязаны были совпасть с очными, и папка, похоже, помнила каждый.

Следующий вопрос он задал тем же тоном:

— В каком возрасте у вас была первая близость?

Вопрос дошёл до Ани не сразу — прозвучал он буднично, словно речь шла о размере обуви.

— В семнадцать, — сказала она после паузы.

— Сколько всего было мужчин?

— Двое.

— Цикл регулярный?

— Регулярный.

— Беременности были?

— Нет.

— Отношение к боли, — произнёс он не как вопрос, а как заголовок графы. — Терпимое, среднее, низкое?

Аня сжала пальцы на коленях. К сальностям она была готова: их хотя бы можно презирать, а презрение греет не хуже пальто. Канцелярская ровность, с которой он вносил ответы в папку, ни разу не подняв глаз, оказалась хуже: графы анкеты касались того, что Аня привыкла считать лично своим, не подлежащим протоколу. Выяснялось, что протоколу подлежит всё, вопрос лишь в зарплате.

— Терпимое, — сказала она.

— Хорошо, — он закрыл папку. — Теперь разденьтесь, пожалуйста.

Он положил ладонь на папку и стал ждать. Фраза не прозвучала ни приказом, ни просьбой, просто следующий пункт собеседования, который предполагалось выполнить, не обсуждая.

Аня встала. Пальто она сняла и повесила на спинку стула, свитер сложила пополам и опустила сверху. Дальше пошло медленнее. Лифчик с утра был на ней тот, у которого сбоку разошёлся шов; снимая, она развернула его швом внутрь и положила так, чтобы шва не было видно. Вещи ложились стопкой, край к краю, будто аккуратность имела здесь значение. В камине горело и не трещало. Аня поймала себя на том, что ждёт треска: ничего другого ждать в эту минуту она не умела.

Ефгарф Калистратович поднялся и обошёл её по кругу, размеренно, разглядывая не то, как она сложена, а состояние тела: годность и соответствие критерию, известному ему одному. Взял за подбородок двумя пальцами, наклонил голову, осмотрел зубы, отпустил. Провёл ладонью по спине, надавил между лопаток. Плечи сжал коротко, врачебно. Ступнями Аня чувствовала жёсткий ворс ковра, и весь осмотр она помнила про этот ворс больше, чем про его руки.

Он остановился перед ней, и взгляд опустился к маленькой груди с бледной кожей и тёмными на её фоне сосками, затвердевшими от холода и страха. Не предупредив, он сдвинул правый, ощутимо и бесстрастно, ровно настолько, чтобы получить отклик, дождался короткого вздоха, который Аня не успела сдержать, отпустил и сделал пометку, не глядя на бумагу.

Вздых, судя по всему, тоже шёл в графу.

Рука опустилась ниже, легла на живот, потом скользнула между ног, уверенно, не торопясь, так же деловито, как он листал документы. Пальцы вошли неглубоко, ощупывая, будто он выискивал скрытый изъян в вещи, взятой с рук. Ни вожеления, ни удовольствия: проверка соответствия заявленному. Так принимают квартиру в пользование: краны открыть, окна проверить и в акте расписаться.

За окном что-то стукнуло по жести карниза, один раз: то ли лёд, то ли птица. Аня стояла посреди чужой гостиной голая, одежда лежала стопкой в двух шагах, и держалась она за единственную мысль, твердя её по кругу: это просто работа, это просто работа. Мысль истёрлась до гладкости монеты, слишком часто переходившей из рук в руки, но других денег у Ани не было.

Осмотр он закончил внезапно: выпрямился, вытер пальцы платком, извлечённым из кармана всё так же неспешно, и сказал:

— Одевайтесь.

Условия он повторил, только когда Аня застёгивала последнюю пуговицу. Слово в слово, как в объявлении, не смягчая и не нажимая, как зачитывают пункты договора перед подписью. Дослушав, она сказала:

— Я согласна.

Худшее, показалось ей, осталось позади. О том, что бывают дома, где на ногах разрешают стоять лишь до определённого пункта договора, в интернате не рассказывали.

Ефгарф отвёл её в холл и пригласил Лизу в ту же гостиную. За дверью не было слышно ничего, словно она вела в пустоту. Сквозь фанерные стены интерната было слышно даже, как воспитательница думает. Дом, умеющий так молчать, обычно имеет причины для молчания.

Лиза вышла с таким лицом, будто пересчитала свои ожидания и недостатки не нашла. Следом появился Ефгарф, а за ним женщина в чёрном: сухая и прямая, волосы убраны так плотно, что казались нарисованными на голове, а лицо пересмотру не подлежало.

— Марфа Тихоновна, — сказал хозяин. — Экономка. Дом и распорядок в её ведении.

Он ушёл, не оглянувшись, а экономка оглядела обеих, как смотрят на привезённую мебель, сличая её с накладной.

— Идёмте. Покажу дом.

Коридоры дома казались длиннее, чем позволяли внешние стены: расхождение, которое глаз не ловил, а ноги замечали. Пахло воском, а под этим слоем таился другой запах, которому Аня не подобрала бы названия, родом точно не из этого дома. Зеркала на поворотах коридора не отражали проходящих: в стекле жил только пустой свет. Аня попробовала встать напротив, и её бросило в дрожь: воздух внутри зеркала казался холоднее здешнего — будто потянуло сквозняком. Больше она на них не смотрела, а Марфа Тихоновна, видно, не смотрела давно.

— Ваша, — сказала экономка, открыв первую дверь, и посторонилась.

Аня вошла, поставила сумку у порога и подошла к окну. Оно было высокое, с широким подоконником, за ним — роща голых лип. Шпингалет не поддался. Она нажала сильнее — он сидел намертво. Краска, которой он был покрашен вместе с рамой, держала лучше клея. Кровать была застелена без единой складки, Аня провела по ней ладонью и почувствовала жёсткость крахмала. Комната выглядела безликой — казалось, что здесь либо никогда никто не жил, либо жильцы уходили отсюда очень аккуратно, не оставляя следа. Второй вариант Аня додумывать не стала.

До Лизиной комнаты было два поворота. Там пахло железом, шторы висели тяжёлые, а окна были расположены выше, чем хотелось бы: чтобы выглянуть, пришлось бы встать на стул. Лиза подёргала штору, пощупала ткань между пальцами и отпустила. Мебель стояла, выстроившись, как по команде, и командовал явно не уют.

— А телефон здесь ловит?

— В этой комнате — нет, — сказала Марфа Тихоновна. — На кухне либо в саду. Ужин в семь. Хозяин опозданий не любит.

Для ужина стол накрыли на двоих. Третий прибор Марфа Тихоновна убрала при них и объяснять не стала: правила этого дома, очевидно, никаких объяснений не предусматривали. Подали им баранину с перловкой на тарелках с синим ободком, графин воды стоял между ними. Экономка вышла и притворила за собой дверь.

— Пахнет здесь, как в аптеке, — сказала Лиза.

— Ты раньше работала по таким объявлениям? — спросила Аня, не поднимая глаз от тарелки.

— Было дело, — Лиза вилкой сдвигала перловку к краю тарелки, отделяя её от мяса. — Только не за такие деньги и не с таким анкетированием. Там проще было, но и гадко сразу. А тут даже не гадко, а просто странно. Нож у тебя режет?

— Страшно? — спросила Аня.

— Не-а, — Лиза улыбнулась, впервые за день не дежурной вежливой улыбкой, а от души. — Страшно — это когда ты ждёшь, что что-то случится. А здесь ощущение, что уже ничего случиться не может.

Перловку она так и оставила на краю тарелки. Аня съела всё — первый у неё полноценный ужин за несколько дней. Доедали они молча, как едут в ночном лифте люди, понимающие про себя: оба — случайные попутчики.

— Ну, я спать.

Лиза унесла тарелку к мойке, хотя её об этом никто не просил, и пустила воду. Вода шла с воздухом, толчками. Аня свою тоже вымыла.

Постель в Аниной комнате была перестелена заново, хотя за день Аня на неё так и не села. Она легла поверх покрывала и свет гасить не стала. Погасила через час.

Дверь открылась в третьем часу.

Ни шагов, ни скрипа: лёгкий щелчок язычка и мягкое движение створки. Так входят сквозняки и мысли.

— Вы не против, если я войду? — голос Ефгарфа был тем же, что и днём, только тише.

Аня села на кровати и кивнула, не найдя слов. Слова здесь вообще не входили в её обязанности, это она уже поняла. Он вошёл, сел на край постели и не торопился.

Пауза тянулась долго, и не потому, что Ане хотелось её длить: торопить было страшнее, чем медлить. Когда она поднялась, он взял её за плечо, развернул к себе и повёл, медленно, как показывают дорожку, а не тянут за собой.

Сначала он занялся её волосами. Пальцы шли от виска к затылку, прядь за прядью, ни разу не дернув. С блузкой он обходился так же: расстёгивал по одной пуговице и каждый раз ждал, пока ткань отойдёт от шеи. Третья сверху была пришита белой ниткой по серому — Аня пришивала её в марте, в общежитии, и вспомнила об этом именно теперь, а больше ни о чём в ту минуту не думала.

Юбка поддавалась с первого касания, и Ане осталось шагнуть из упавшего на пол круга. Дальше он обошёлся без её участия, и только ноги она поднимала сама, сначала одну, потом другую, держась при этом за его плечо, потому что иначе потеряла бы равновесие. Так раздевают не женщину, а обещание, данное в объявлении, пункт за пунктом. Подпись под таким договором, выяснялось, ставят не ручкой.

Когда Аня осталась стоять перед ним нагая, он посмотрел на её руки и подождал, пока она сама вытянет их вдоль тела. Только после этого оглядел её целиком, с головы до пят, неторопливо, словно сверяясь со списком. Список, судя по его лицу, сходилась.

Поцелуй удивил первым — в нём не было ни голода, ни желания подчинить. Ефгарф целовал мягко, чуть заторможенно, будто изучал форму её губ, прежде чем двигаться дальше. От него пахло полиролем, тем же, что в холле.

Потом он положил ладони ей на спину и чуть надавил, и на секунду Ане стало страшно: не оттого, что будет больно, а оттого, что не будет ничего лишнего. Где замедлить, где ускорить,

где задержаться, сжать слегка, прикусить, провести ногтем по бедру — рука знала это заранее, как знает врач, которому известно, что организм у всех устроен одинаково, и в этом его главная печаль.

Аня легла на спину. Пружина под лопаткой отозвалась один раз и больше не мешала. В потолке от угла к люстре шла трещина, тонкая.

Он прошёл губами вдоль её ключиц и задержался у груди, скорее точно, по-инженерному, чем жадно: сосок был кнопкой, и следовало проверить, работает ли она как положено. Её это смешило и злило разом. Там, где она ждала напора, шла мерная, чёткая работа, как у робота, скопировавшего живое до последней мелочи.

Пальцы у него были гладкие, но крепкие. Он сжимал бёдра, разводил их. Обводил линию живота, будто вёл циркулем. Аня упёрлась ладонью в изголовье — иначе её сносило к стене, а стена была холодная — холоднее простыни и холоднее его рук. Проник медленно, почти сдержанно, а ускорился тогда, когда тело привыкло, — не раньше. Он не произносил ни слова и даже не дышал тяжело: каждый звук получался у него коротким, будто заранее отрепетированным.

А потом началось то, для чего у Ани не было слов.

Он менял ритм всякий раз, когда она успевала подстроиться под предыдущий. Пальцы лежали на внутренней стороне бёдер и давили как раз настолько, чтобы мышцы разжались сами. Ладонь шла от пупка вниз и обратно, размеренно, как рука по клавишам. Один раз он замер и посмотрел ей в лицо, и глаза отвела она.

Аня застонала. Не так, как стонала с прежними мужчинами, из вежливости или чтобы поторопить. Вышел звук, которого она за собой не знала: низкий, хриплый, из глубины живота. Она услышала себя со стороны и испугалась этого голоса. Пальцы собрали простыню в горсть, спина выгнулась, её команды не дожидаясь.

Он заметил и повторил приём, тот же угол и ту же скорость, и Аня закричала, коротко, по-звериному. Ноги задрожали, колени застучали о матрас. Она успела подумать, что через стену это слышно и что Лиза не спит. Слюну, побжежавшую изо рта, она поймала ладонью и устыдиться не успела: дальше пошло подряд, без промежутка, в котором можно отдышаться. Аня плакала и смеялась разом. Тело ей больше не принадлежало, в нём распоряжался кто-то другой, и распоряжался умело.

Закончилось сразу. Он отстранился первым, опустил на край кровати и несколько секунд смотрел в стену.

— Вы хорошо подходите для задачи.

Это вышло так смешно, что Аня рассмеялась, тихо, в кулак. Он оглянулся, кивнул, поднялся и оделся. Одевался он так же, как раздевал её: в правильном порядке, не позволив себе ни одного лишнего жеста. Манжеты застегнул последними. Дверь закрылась за ним всё тем же мягким движением.

До рассвета Аня пролежала с открытыми глазами. Кожа ещё ощущала прикосновения и чужой ритм. Стыда она в себе не находила, как и страха или облегчения, одну пустоту, как после долгой болезни. В интернате после болезни хотя бы давали компот.

Лиза лежала, прислушиваясь к коридору, когда её дверь распахнулась, стука не было. Ефгарф вошёл не глядя, расстёгивая брюки на ходу. Лиза успела подумать, что дневная вежливость осталась, видимо, в другом кабинете. Дальше думать стало нечем.

Его рука сомкнулась на её горле, не перекрывая дыхание, а держа, как тисками, и прижимая затылок к простыне. Пальцы другой руки вдавились ей в рот, когда она хотела закричать, не от боли ещё, а оттого, что вторжение случилось слишком внезапно. Он переставил колено, устроился удобнее и только тогда начал. Ладонь била по лицу. Раз, два, три. Счёт был его собственный, и слышал его он один. Всегда под левый глаз: веко напухло уже к третьему разу и потекло. К шестому из носа пошла кровь. Прикрыться Лиза не успевала, только моргала

и после каждого раза видела хуже. Рубашка на нём оставалась застёгнутой до самого горла, лишь чуть сдвинулась манжета на запястье. Между ударами он обзывал её: шлюха, дырка, вещь. Порядок менялся, тон нет — так объявляют остановки. Когда она попыталась вцепиться зубами в его руку, он придавил её, поставив колено на грудь, и у ключицы хрустнуло. В конце он поднёс к её лицу пальцы, блестящие под светом ночника.

— Вот ты какая внутри.

Он ушёл, оставив дверь распахнутой. Из коридора на кровать легла полоса света. Лиза лежала в ней до утра и не поворачивалась: при повороте отзывалась ключица.

Утром Аня пришла на кухню первой и поставила чайник. Лиза вошла, когда он начал шуметь. Правую руку она держала неестественно прямо, а села так, чтобы левая сторона лица оказалась в тени от окна. Полумесяц под глазом всё равно было видно: свежий, фиолетовый, даже не синяк, а отпечаток удара, на который силы не пожалели. Объяснять она ничего не стала.

— У тебя как прошло?

Аня пожала плечами.

— Да нормально. Он очень аккуратный.

— Ну да! — Лиза рассмеялась и тут же прижала ладонь к скуле. — У меня, видимо, другое ТЗ, — она посмотрела в окно, на голые липы. — В целом жить можно.

— Больно было?

Лиза начала было привычно пожимать плечом, но осеклась на полпути и придержала правую руку левой:

— Кипит.

Аня сняла чайник.

— Было, — сказала Лиза. — Но не то чтобы невыносимо. Я думала, будет хуже.

После завтрака Аня пошла по коридору, который, казалось, за ночь прибавил в длине: шагов до конца набралось тридцать пять, вчера вроде было меньше. В конце темнела дверь, запертая на ключ. Возле неё на полке стоял ночник в форме зайца с магазинной биркой. Заяц, если верить бирке, стоил недорого. Дороже всего в этом коридоре стоило не спрашивать.

Слева от запертой двери шли две детские: кроватка, мобиль с пластиковыми звёздами и вторая комната, повторявшая первую один в один. Следов ребёнка не было ни в одной, ни игрушек, ни одежды, ни даже пыли. Комнаты ждали, и ожидание у них получалось лучше, чем у людей.

Ефгарф проходил мимо, и Аня спросила от дверей детской:

— А где дети?

— Детей пока нет, — сказал он без упрёка и интереса. — Родить их, а потом нянчить — это как раз ваша с Лизой работа.

Продолжения не последовало.

— Они будут? — спросила Аня.

Он почти незаметно кивнул и пошёл дальше.

Лиза вышла со стороны лестницы, бледная.

— Мы так не договаривались, — голос у неё дрожал, но звучал твёрдо. — Рожать? Этого в контракте не было.

Ефгарф остановился, не оборачиваясь.

— Было. Пункт седьмой, мелкий шрифт. Вы подписали.

— Я ничего не подписывала!

Он вынул из внутреннего кармана сложенный вчетверо лист и развернул, не поднося ближе. Внизу, под строчками мелкого шрифта, стояла подпись — Лизина, с её нажимом и хвостом у последней буквы. Лиза посмотрела на свою руку так, словно та расписалась сама по себе.

— Поздно, — сказал он, убрал лист и скрылся за поворотом.

Лиза прислонилась к стене и закрыла лицо руками. Аня промолчала: утешать того, кто узнал цену собственной подписи, она не умела.

Вечер прошёл по вчерашнему расписанию, только Лиза за стол не села: то ли уснула, то ли решила, что голод честнее компании. В полночь Аня отправилась по коридору во второй раз, у зеркал делая шаг в сторону: с некоторыми вещами этого дома знакомиться ей всё ещё не хотелось. В глубине всё так же светился заячий ночник, и дверь стояла запертой.

Дом всё больше походил на место, где всё заготовлено загодя и оставалось лишь дожидаться, когда сам окажешься не снаружи этой затеи, а внутри: в этом доме, с этими людьми и при этой зарплате. Тишина стояла абсолютная, Аня шла и невольно снова считала шаги. Получалось больше, чем тридцать пять.

Глава 3. Две спальни

Деньги приходили ночью. Аня узнавала о них утром, на кухне, с ложкой в правой руке и телефоном в левой: экран загорался от прикосновения, и в строке баланса стояла новая цифра, переписанная кем-то, пока она спала. Сто пятьдесят тысяч. Одиннадцатого числа каждого месяца.

Она положила телефон на стол, прислонив к сахарнице. В прежней жизни Аня растягивала двести семнадцать рублей до конца недели и пересчитывала мелочь у кассы, пока очередь дышала в затылок. Здесь считать было нечего, и от этой праздности Аня стала забывать арифметику подсчётов минимально необходимого.

Зеркало у входа в кухню отражало край стола, хлебницу и угол подоконника, но никогда не отражало человека, проходящего мимо. Аню оно показывало исправно — в первую неделю она проверила, встав вплотную и подняв руку. Выходило, дело в доме, а с домом Аня не спорила: он выигрывал даже у зеркал.

Марфа Тихоновна поставила перед ней тарелку без единого слова и отвернулась к плите. Пахло кофе и дорогим мылом, которым здесь мыли, похоже, всё — от чашек до перил. Аня перестала замечать этот запах, как перестаёшь замечать запах собственного жилья, хотя своего у неё никогда не было, и сравнение пришлось позаимствовать.

Хлеб был ещё тёплый, где его пекли, Аня так и не узнала, наверное, в этом же доме, за стеной. Она отломил горбушку и доела до крошки, по интернатской привычке, а потом сидела и смотрела на почти целую буханку. Приятно было осознавать, что хлеб есть, и его много. Всё это будет, пока выполняются условия договора. Об этой оговорке хлеб не знал, и Аня помнила её за них обоих.

Тарелка, кофе, спина экономки у плиты — каждое утро одно и то же, и за эту одинаковость Аня держалась крепче, чем за деньги. Интернат приучил её к расписанию как к форме милосердия: где есть распорядок, там кому-то есть до тебя дело, хотя бы чтобы вовремя покормить.

Вечером, застёгивая перед зеркалом в спальне домашнее платье, она заметила, что оно стало тесновато в груди. Тени под глазами, которые она носила с шестнадцати лет, куда-то делись.

Замок щёлкнул коротко. Ефгарф приходил каждый вечер в одно и то же время: дом сам подводил его к её двери в положенный час. Начинал он всегда с Ани. Вечера в доме не различались, и этот не стал исключением: мягко распахнутая створка — и он уже стоит на пороге.

— Добрый вечер, — сказал он, входя, будто это была не спальня, а приёмная, и положил руку ей на плечо, не хватая, а опуская: так успокаивают больного перед процедурой.

Хозяин раздевал её медленно, тем же порядком, что и в первый вечер: сначала вынимал шпильки из волос и складывал на тумбочку в ряд, остриями в одну сторону, потом расстёгивал пуговицы, сверху вниз, одну за другой, и когда Аня потянулась было к нижней сама, отвёл её пальцы. Аня давно выучила этот порядок наизусть — как молитву, которую произносят не из веры, а потому что так положено.

И всё же каждый раз в заведённом порядке появлялась новая мелочь: сегодня он задержался чуть дольше на её ключице, накануне иначе вёл пальцем по линии бедра. Аня догадывалась, что забывчивость тут ни при чём: он смотрел и запоминал, вёл дневник её тела, отмечая, что изменилось со вчерашнего дня. Записей она не видела, но не сомневалась: папка, заведённая ещё при первом осмотре, толстеет.

В постели он двигался так же, как говорил: ровно и без надрыва, никуда не спеша. Лёг рядом, потом сверху, ладонью придерживая её голову от удара о подушку, следил за дыханием

и, стоило Ане задержать вдох, замедлялся, давая отдышаться. Волосы, упавшие ей на лицо, убрал двумя пальцами, легко, точно смахивал пыль с фотографии. Ни одного лишнего звука или движения он себе не позволял: лишь то, что требовалось, чтобы довести дело до конца.

Аня лежала под ним с открытыми глазами, смотрела в потолок, где лепнина расходилась кругами, и думала. Отвращения давно не осталось, было другое, чему она не умела подобрать слова. Нежность его была без всякой личной ноты, в ней нечего было присвоить и унести с собой, чтобы хранить потом, вспоминая. Так ухаживают за комнатным цветком: поливают вовремя, поворачивают к свету и срезают сухой лист, не потому что любят, а потому что цветок должен расти.

Аня и была этим цветком, ухоженным и политым, повернутым к свету. Цветам, правда, проще: их хотя бы не спрашивают, согласны ли они цвести.

Когда всё заканчивалось, Ефгарф одевался, повторив всё в обратную сторону, и уходил, оставив дверь притворённой ровно настолько, чтобы Аня слышала его шаги. Потом в конце коридора проворачивался замок Лизиной двери.

Оставшись одна, Аня лежала, прислушиваясь. Но дальняя дверь держала звук так же надёжно, как держат воду хорошие сапоги: ни стоны, ни вскрика, только глухая, ватная тишина, пугавшая сильнее любого крика. Крик означал бы, что за дверью идёт борьба. Тишина говорила, что там идёт работа.

Утром Лиза выходила к столу с синяком на запястье, лилово-жёлтым по краям, и не прятала его под рукав, просто клала руку на скатерть, будто рука существовала отдельно от разговора.

Она наливала себе кофе тонкой струёй и сидела, глядя в чашку, а не на Аню.

— Тебе больно? — спросила как-то Аня почти шёпотом, будто вопрос мог разбудить кого-то третьего.

— Он разный, — ответила Лиза, поворачивая чашку за ушко. — Сахар дай.

Аня подвинула сахарницу. Больше Лиза не сказала ничего, и Аня не стала спрашивать снова. В этом доме на вопрос отвечали ровно один раз.

Через неделю на скатерти лежала та же рука, только вместо синяка на костяшках была ссадина, подсохшая коркой. Ещё через неделю на предплечье проступили четыре синих овала от пальцев, такие ровные, что казались нарисованными. Перед кухней Лиза каждый раз задерживалась: Аня слышала, как в коридоре замолкают шлепки тапочек, секунда, другая, — и Лиза входила уже как ни в чём не бывало, садилась, клала руку на скатерть. Аня молчала. Такие договорённости она знала по Интернату, там тоже не спрашивали про синяки у тех, кто не хотел отвечать.

На седьмой день после Нового года Лиза не вышла к завтраку.

Марфа Тихоновна поставила перед Аней тарелку, а второй поднос, собранный по привычке, унесла на подоконник и накрыла салфеткой. Через час в прачечной загудела машина и гудела долго, с дребезгом крышки на отжиме. К вечеру поднос с подоконника исчез, а в конце холла, на полу у двери, которая вела вниз, стояла тарелка, накрытая другой тарелкой.

Аня прошла мимо, не замедлив шага. Полгода в доме научили её главному правилу местного этикета: не видеть того, что оставлено на самом виду.

Накануне она слышала, как экономка ставит что-то тяжёлое на первую ступень и долго стоит у поручня, будто решая, возвращаться ли. В полдень Аня сама открыла дверь на лестницу. Подвал пах иначе, чем остальные комнаты: мокрым бетоном и, глубже, железом. На третьей ступени воздух уже был чужим, без звона посуды и топота наверху. Внизу стояло такое плотное беззвучие, что в нём не ворочалась даже мышь. Аня постояла, держась за поручень там же, где держалась экономка, и поднялась обратно. Дверь она не захлопнула: дальнейшее любопытство в этом доме не окупалось.

Лиза внизу узнавала о времени по звукам. Наверху проскрежетал поднос, дверь приоткрылась, и в щель потянуло остывшей картошкой и паром, сквозь который Лиза впервые уловила собственный запах, кислый и тёплый, как у давно не проветренной одежды. Открытие её не расстроило: в списке потерь этой недели гигиена шла далеко не первой.

Она поднялась за подносом и по дороге, как каждый раз, пересчитала подвальное хозяйство. Кольца в стене, четыре. Кольца в полу. Ремни, стёртые на сгибах, с потемневшими пряжками, как на старых портупях. Скамья без лака, с выемками под колени. На тумбе бинт и мазь без этикетки. Всё выдавшее виды и вымытое до скрипа, тем же дорогим мылом, что и наверху. Аптечка здесь выглядела убедительнее, чем в недописецкой поликлинике, и это было, пожалуй, самое обидное.

Выемки на скамье протёрли чужие колени задолго до неё. Лиза поняла это в первый же вечер, и это почти успокаивало: быть очередной в длинном списке выходило безопаснее, чем единственной, ради которой старались. Она поставила поднос на тумбу, рядом с бинтом, и ела стоя. Про пункт седьмой договора она откричала своё ещё осенью, наверху; хозяин выслушал, не перебивая, и назвал новую цифру. К утру Лиза торговалась уже не о том, соглашаться ли, а о сроках.

С тех пор кричать стало не о чем.

Вечером щёлкнул выключатель. В подвале Ефгарф никогда не говорил первым и не стучал: свет загорался, и этот щелчок заменял ему приветствие. Рубашка на нём была одноцветная, на липучках, без пуговиц, чтобы снимать быстрее. Начинал он с осмотра: брал Лизу за плечо, поворачивал к лампе, разглядывал кожу, особенно старые ссадины и пятна, и, только убедившись, что новых повреждений нет, спрашивал:

— Готова?

Лиза не отвечала, лишь кивала. Здесь его голос звучал ниже, чем в доме: в подвале ему было не с кем соревноваться.

Первыми шли размеренные удары через одинаковые промежутки. Он бил ладонью по ягодицам и по бедру, не размахиваясь: не хотел ни калечить, ни красоваться. После каждой серии ждал, пока кожа впитает боль, и лишь потом добавлял новую.

На третьем заходе в его руке появлялся ремень. Ладонь, за ней ремень и пауза, в которой было слышно только её сбитое дыхание. Звук ремня поначалу казался громче боли, и Лиза думала, что сейчас разрыдается, но вместо этого сжимала зубы и выпускала только хриплый выдох.

Потом начинались команды: «Тише», «Держи», «Не рыпайся». Злобы в них не было ни капли, даже когда Лизу дёргало, как от тока: он перехватывал её за локоть, поднимал и снова выставлял в то положение, в котором оставил. Если она сбивалась с ритма, прижимал к скамье крепче, но не дольше, чем требовалось, чтобы она выровнялась. Иногда он тихо говорил:

— Ты молодец.

— Терпи.

— Чуть осталось.

Каждое слово звучало сухо и деловито, по-строевому; одно «не рыпайся» выпадало из этой канцелярии, и Лиза его запоминала — впрок, неизвестно зачем. По спине Лизы катился холодный пот, и ей казалось, что хозяин слышит, как капли ползут вдоль позвоночника.

Когда дрожь пробивала её уже насквозь, он подхватывал Лизу на руки и укладывал на мат, постеленный рядом. Сначала лишь касался шеи, то ли проверяя пульс, то ли согревая кожу. Потом долго держал ладонь между лопаток и, только когда дрожь стихала, резким и глубоким движением входил в неё; с этой минуты ей принадлежало в собственном теле не больше, чем во всём этом доме.

Сперва Лизе было дико: после ремня внутри словно вырастали две новые кости, мешавшие раздвигать ноги. Он не щадил её, но и не увечил, просто растягивал боль, пока та не

заполняла Лизу целиком, вытесняя изнутри всё остальное. На пике он иногда сжимал ей шею: пальцы накладывал не туго, но так, чтобы она ощущала, в чьей власти даже её дыхание. В эти мгновения она не могла ни кричать, ни плакать, выходил лишь сип, а порой не выходило ничего.

Секс был долгим, и только под конец он позволял себе чуть сбиться с ритма, который сам же и задавал. Лизе казалось, что он вот-вот сорвётся, начнёт мстить или унижать, как бывшие клиенты, но он не менял ни интонации, ни силы. Однажды она прикусила щёку и ощутила на языке кровь. Он остановился, взял с тумбы бинт, промыл ранку водой из бутылки — вода была ледяная, и Лиза дёрнулась сильнее, чем от ремня, — затем вернул её к скамье: от неё требовалось вытерпеть, от него — довести всё до конца.

В паузах Лиза смотрела в потолок и считала скобы на балке. Одиннадцать, и двенадцатая — кривая, со сбитой шляпкой. Боль она пыталась держать отдельно от себя, как чистку зубов или прививку, и заносила в отдельную строку: где саднит, где горит кожа, где наливаются синяк. Над балкой прошла Марфа Тихоновна, Лиза узнавала её по пяткам, которые та ставила, приволакивая.

Иногда ей даже нравилось: роль была простая, и ни разу не возникало вопроса, зачем. Было объявление с условиями, она их выполняла, и этого смысла хватало.

Потом липучки трещали, щёлкал выключатель, и хозяин уходил молча. Лиза лежала на мате в темноте, кровь из прикушенной щеки затекала за ухо, в волосы, мат пах резиной. Отлежавшись, она вставала, вытиралась на ощупь и надевала халат, выданный вначале.

Утром, при свете из щели над дверью, Лиза разглядывала бедро: синяк желтел по краю. К новому приходу хозяина кожа почти очищалась — Ефгарф строго следил за сроками и не бил по свежему. Такой пунктуальности не знал ни один недописецкий работодатель, только здесь она пугала сильнее штрафов за прогулы.

Поднос экономка ставила на первую ступень и вопросов не задавала: маршрут был протоптан ещё при прежних жилищах, да и всё в этом доме было старше, чем они сами.

Мазь без этикетки пахла камфорой. Лиза втирала её в бедро и вспоминала бабушку: та заворачивала лёд из морозилки в носовой платок, клала на синяк и приговаривала: «Синее — не к смерти, синее — к жизни». Девочкой Лиза верила: чем синее, тем крепче станешь. Бабушка по-своему оказалась права: после каждой ночи боль уходила, а сила оставалась, только не сила победителя, а выносливость складского учёта, где одна коробка сменяет другую, и на следующую партию всегда есть запас.

В двадцатых числах января, когда хозяин снова спустился по расписанию, Лиза спросила:

— Завтра тоже сюда?

Он кивнул, не оборачиваясь от лампы:

— До конца месяца здесь поживёшь.

— Я поняла, — сказала Лиза, и голос её не дрогнул ни на четверть тона. Жаловаться было глупо, а глупостей она себе давно не позволяла.

Через неделю Лиза вышла к завтраку сама, будто вернулась из командировки, а не оттуда, о чём в доме не говорили. Марфа Тихоновна молча поставила второй прибор и ничем это не отметила: отсутствие Лизы сошло за затянувшийся ремонт, который наконец закончился.

Неполный месяц внизу изменил её заметно: ключицы выступали резко — тело сэкономило на всём необязательном, под глазами стояла темнота, какой не смывает одна хорошая ночь. И всё же спину Лиза держала так же прямо, а губы складывались в ту же ироничную полуулыбку, будто она заранее знала, чем всё закончится, и словно находила это забавным.

— Доброе утро, — сказала Лиза, садясь и придвигая к себе чашку. — Ждали меня, поди.

— Я не знала, вернёшься ли ты вообще, — сказала Аня.

— Ну вот, вернулась. — Лиза налила себе кофе твёрдой рукой, мимо чашки не пролилось ничего. — Скоро февраль. У нас в такое время туман ложится.

— Знаю, — кивнула Аня, тоже глядя в окно. — Стелется по низинам до самого полудня.

— А к вечеру опять наползает, — продолжила Лиза. — Бабка моя всегда говорила: низкий туман — к оттепели, высокий — к морозам.

— У нас в интернате нянечка говорила так же, — отозвалась Аня.

— Они все так говорили. У них одна книжка была на всех, что ли.

Про туман заговаривают, как про погоду в очереди: затем, что общее молчание тяжелее любых слов. Тем временем, за стеклом не осталось ни забора, ни дороги, только серое марево, и в этом сером торчала верхушка ели.

Лиза поставила чашку точно в центр блюда, повернула ушком к себе.

— Времени — вагон, — сказала она, и вопроса, чем бы заняться, в этом не было.

Про подвал не прозвучало ни слова.

Марфа Тихоновна собрала тарелки и со стуком поставила в раковину. Аня смотрела на Лизину руку на скатерти. Запястье было чистое, без синяка, только тоньше прежнего, и косточка торчала острым углом. Но жалости Аня не выказала: жалости Лиза не приняла бы, поднеси ей Аня это чувство хоть на блюде. Человек собрал себя заново, по частям, и вышел к завтраку с прямой спиной, будто спина никогда и не гнулась.

Лиза намазала масло на хлеб, ровно, до самой корки, и откусила. Аня взяла свой нож, повертела в руке и положила обратно на скатерть. Отгородить часть себя, запереть на ключ и жить дальше, будто про запас есть ещё несколько таких комнат, — вот что Лиза умела. Сама Аня так не умела.

Пока.

Ночью она не спала. За батареей капало, раз в несколько секунд; Аня считала капли и сбивалась на пятом десятке. Начинала заново. Потом в коридоре подала голос знакомая половница у поворота: Ефгарф уходил от Лизы. Дверь стукнула, и дом, как всегда после его ухода, разом переводил дыхание.

Аня села, подтянула одеяло к подбородку и запрокинула голову. Круги лепнины угадывались только в середине, края съедала темнота.

Бирки на кроватках в детских комнатах были картонные, на бечёвке. Аня трогала одну осенью, когда Марфа Тихоновна проветривала детские: бечёвка шершавая, цена написана от руки, чернила разошлись на сгибе. Кроватки стояли по две у каждой стены, на спинках ещё держалась заводская плёнка. Магазин наверняка давал на мебель гарантию, и дом, похоже, рассчитывал успеть гарантией воспользоваться.

Под полом была комната, откуда не проникал ни один звук. Лиза прожила в ней двадцать шесть дней и вернулась исхудавшей, но по-прежнему прямой.

Аня легла на бок и подтянула колени к животу. Одно — про боль, другое — про будущее; называть связь было незачем — дом складывал её сам, из недель в подвале и месяцев в спальне, и складывать оставалось недолго.

Аня закрыла глаза. Капля за батареей вела свой счёт, будто где-то внутри дома шли часы, поставленные на срок, который ещё не подошёл.

Глава 4. Беременности

Утро пришло серым и вялым. Свет за окном едва набрал силу и на том остановился, плоский, без теней, как в казённых учреждениях, где посетителям всё равно нечему радоваться. Аня стояла у окна своей комнаты, прижавшись плечом к раме, и смотрела на липы за стеклом. Листьев на ветках давно не осталось: чёрные от вчерашнего дождя, деревья вдоль забора казались нарисованными одной краской, разведённой пожиже.

Она подняла руку и стала загибать пальцы. Сначала на одной руке, потом на другой, потом снова с начала, а после ещё раз на другой. Считала не торопясь, повторяя счёт по второму кругу, будто первый мог оказаться ошибочным. В интернате она так же считала дни до летнего лагеря, и числа тогда тоже подводили, только в другую сторону.

Аня пересчитала дни ещё раз, медленнее. Снова вышло не то, что полагалось по обычной арифметике женского тела, знакомой ей с шестнадцати лет. Тело считает лучше всякого бухгалтера и, в отличие от последнего, никогда не ошибается в свою пользу.

Тревоги, как ни странно, не было. Аня опустила руку. Факт лёг перед ней, будто счёт за электричество: оплатить придётся, готова ты или нет. Кофту она застегнула через пуговицу, заметила это уже в дверях и перестёгивать не стала.

В столовой пахло кофе и, как везде здесь, дорогим мылом. Над чайником стоял пар. Марфа Тихоновна у буфета наливала кипяток в заварник, и струя входила в фарфор тонко, без брызг, обрываясь в полупальце от края. Чай был тёмный, почти чёрный. Про сорт Аня спросила один раз, в первую неделю, и ответа не получила. В этом доме редко отвечали на вопросы, зато кормили всегда вовремя и наливали чай до самого ободка.

Лиза уже сидела за столом.

Спина прямая, как обычно. Тарелка чистая. Хлеб лежал нетронутым, от масла не отрезано ни полоски, и это было настолько не похоже на Лизу, что Аня задержалась у порога на лишние полшага.

Она села напротив и подвинула к себе чашку, налитую до ободка. Обе смотрели каждая в свою сторону. Лиза в окно, на всё тот же чёрный ряд лип. Аня на скатерть, где у блюда бледнело застиранное пятно. Но именно оттого, что взгляды их не встречались, каждая была видна другой насквозь. Пар над чашками поднимался и таял, и ни одна не спешила сделать первый глоток.

Лиза держала локти близко к телу, плотно, точно боялась занять за столом лишний сантиметр. Рука её не тянулась к хлебу, хотя обычно она брала кусок первым делом, ещё не отхлебнув чая, по привычке, бывшей у неё с самого начала жизни в этом доме. Даже пальцы лежали на краю стола неподвижно, без лёгкого постукивания, которым Лиза отбивала невидимый ритм, когда думала о своём.

Понимала Аня и другое: её саму сейчас изучают ничуть не менее пристально, слишком уж старательно Лиза не поворачивала головы. Значит, замечала и напряжённую позу с чашкой, замирающей на полпути ко рту, и взгляд, то и дело соскальзывающий на собственные колени, словно там, под столом, шёл счёт, который приходилось проверять снова и снова.

Дверь скрипнула, и вошёл Ефгарф. Хозяин сел на своё место, кивнул экономке одним подбородком, и та положила рядом с его тарелкой сложенную газету, свежую, точно её доставляли прямиком из типографии, минуя весь остальной Недописецк, где газет давно не выписывал никто.

Он развернул её и стал читать, страница за страницей, не спросив даже, как прошла ночь у сидящих за столом. Впрочем, о ночах этого дома он знал не меньше девушек: он сам их составлял.

Марфа Тихоновна унесла пустой чайник, и дверь за ней не стукнула. Остались трое за столом. Шелест страницы. Ложка, которую Лиза вынула из чашки, звякнула о блюде. Молчание подавали здесь к каждой трапезе, как хлеб, и Аня выучилась глотать его не морщась.

— Я беременна, — сказала Лиза.

Произнесла она это без нажима и без сомнения в голосе, как сообщают о свершившемся факте. Глаз от скатерти не подняла.

Аня посмотрела на неё, потом на собственные пальцы, ещё помнившие утренний счёт, который так и не сошёлся.

— Я тоже.

Ефгарф газету не отложил. Он дочитал абзац, и Аня видела, как его взгляд идёт по строчке ровно, не убыстряясь, в конце строки возвращается влево и снова идёт. И только дочитав, сложил лист вдвое, затем ещё раз вдвое и отодвинул к краю — туда, где полагалось лежать утренней почте, которую сюда никто никогда не приносил.

Посмотрел на Лизу. На Аню. Кивнул один раз. Так кивают, принимая отчёт о доставке: число коробок сверено с накладной, расхождений нет.

— В конце недели приедет врач.

Про самочувствие он не спросил. Взял чашку обеими руками, как брал её каждое утро последние полгода, отпил и поставил обратно на блюде так, что фарфор не звякнул.

Аня смотрела на эти руки и понимала, не проговаривая до конца даже про себя: он знал раньше них обеих. Знал, когда заказывал детские кровати, с которых так и не отклеили ценники. Знал, когда писал объявление про няню для своих детей.

Сложенная газета лежала кверху последней полосой, и там, внизу, мелким шрифтом шли частные объявления. Он в своём не солгал, если разобраться, ни словом: дети под этой крышей были делом решённым задолго до того, как обе женщины переступили порог.

Ефгарф снова взялся за чашку. И Аня подумала, что объявление, из-за которого она попала в этот дом, вообще оказалось самым честным документом в её жизни. Читать его следовало так, как читают договор с банком, с той разницей, что все пункты здесь были набраны одинаково крупным кеглем.

Она опустила глаза и допила чай до дна, не почувствовав вкуса.

Машина с доктором подъехала в пятницу, к обеду, та же чёрная, с непроницаемыми стёклами, что привезла их сюда полгода назад. Только теперь она доставляла не работниц, а обслуживание к уже размещённому заказу.

Из машины вышел немолодой мужчина в сером пальто, с портфелем из кожзаменителя, потёртым на углах, и с лицом настолько лишённым выражения, что оно казалось бланком, в который ещё не вписали данные. Марфа Тихоновна встретила его в холле молча, коротко кивнула и повела вверх. Здоровались тут, судя по всему, только по распоряжению хозяина, а в данном случае распоряжения не поступало.

Осмотр устроили в комнате Ани. Врач раскрыл портфель на столе у окна и разложил инструменты в ровный ряд: холодный металл, стетоскоп, мерная лента, свёрнутая в тугую рулон, и что-то ещё, чему Аня не знала названия.

Последней на стол легла картонная папка, не подписанная никак. Аня узнала не папку, а метод: в такую же хозяин когда-то записывал её ответы, и с тех пор она знала, что самые страшные бумаги здесь выглядят самыми скучными.

Руки у него были сухие и быстрые, как у мастера, которому давно всё равно, что осматривать: рояль, трубопровод или женщину. Но прежде чем начать, он замер над разложенными принадлежностями, сверяясь с каким-то внутренним списком, как хозяйки замирают над накрытым столом, проверяя, не забыта ли соль. Аня сидела на краю кровати и ждала. Было слышно, как за окном срываются с лип капли, падая на жестяной подоконник: одна, другая.

Врач молчал. Люди, которым платят и за молчание тоже, не торопятся никогда: спешка похожа на неуверенность, а неуверенных сюда, видно, не приглашали.

— Лягте, — сказал доктор, не поднимая на неё взгляда.

Аня легла. В интернатском медпункте врачи хотя бы делали вид, что помнят твоё имя. Этот не тратил сил даже на видимость. Металл коснулся живота холодным краем, и она вздрогнула, но осмотр продолжался так, словно вздрагивать здесь полагалось разве что мебели. Губы врача шевелились беззвучно, отсчитывая что-то своё.

— Повернитесь на бок, — сказал он. — Дышите ровно.

Она дышала, а врач ощупывал ей живот двумя пальцами, вдоль и поперёк, так же деловито, как полгода назад её осматривал сам хозяин. Бланки он заполнял после, на подоконнике, подложив под лист ту самую папку: разлинованная бумага без шапки поликлиники и без печатей, цифры мелким убористым почерком, столбиком. Медицина приходила в этот дом, как газеты: минуя учреждения, придуманные для всех остальных. Про тошноту он не спросил. Про поясницу тоже. Писал только то, что видел сам, а слова пациентки к делу, видимо, не подшивались.

Закончив, он защёлкнул портфель и повернулся не к ней.

У двери стоял Ефгарф. Когда тот успел войти, Аня не услышала. Доктор заговорил с ним без вступления:

— Всё в порядке. С обеими.

Фраза прошла мимо Ани, мимо кровати, на которой та лежала с задранной до рёбер кофтой, и легла ровно в руки Ефгарфа — отчётом, составленным не для пациентки, а для заказчика. Этот момент Аня запомнила так же чётко, как запоминают номер маршрутки, которая увозит от дома, а не к нему.

Токсикоза не было. Ни у неё, ни, кажется, у Лизы: за стеной по утрам никого не выворачивало, а брошюра женской консультации, которую Аня когда-то листала в очереди к терапевту, врала, как оказалось, по всем пунктам сразу. Тело вело себя так, словно следовало графику, составленному заранее и утверждённому кем-то, кто не терпел отклонений. Живот рос ровно. Юбку, в которой она приехала, Аня сперва застёгивала на крючок, потом на английскую булавку, потом убрала в шкаф, и ни одной бессонной ночи сверх обычного это не стоило.

Один раз, у окна в гостиной, она сказала Лизе, глядя не на неё, а на двор сквозь стекло:

— Как-то это всё... слишком спокойно идёт. Не находишь?

Лиза провела пальцем по раме и посмотрела на палец.

— Ни пылинки, — вытерла палец о подол, хотя вытирать было нечего. — У него брака не бывает.

Больше об этом не говорили. Разговор закрылся так же, как закрывались здесь все темы: без точки, но яснее ясного, что продолжения не будет.

На восьмом месяце Ефгарф пришёл к ней иначе.

Лежать на спине Аня уже не могла и спала на боку, подоткнув одну подушку под живот, другую между колен. Дверь открылась привычным мягким ходом. Хозяин сел на край кровати, матрас под ним просел, и Аню чуть скатило в его сторону, но он не потянулся ни к её пуговицам, ни к волосам.

Он положил ладонь ей на живот.

Не гладил и не давил. Держал. Ладонь была тёплая и тяжёлая, сквозь ночную рубашку Аня различала каждый палец по отдельности, и безымянный пришёлся ровно на пупок, выпятившийся за последний месяц. Шевелиться ничто не мешало. Но она не шевелилась.

Ребёнок под его рукой затих. Весь последний месяц он толкался под рёбрами, к ночи сильнее, чаще справа, а тут остановился разом, на полутолчке. Испуга в этой остановке не было. Было подчинение. Так замирает собака, почуявшая хозяина: не от страха, а оттого, что признаёт власть раньше, чем успевает её осмыслить.

Ефгарф ещё подержал руку, глядя мимо Ани в стену за изголовьем. Потом убрал.
— Хорошо, — сказал он.

Не ей. Куда-то в сторону, точно отметил строку в списке, который вёл помимо всех врачебных бумаг. Он поднялся, матрас выпрямился и вернул Аню на место, и дверь закрылась коротким щелчком, каким закрывалась каждый вечер.

Оставшись одна, она долго лежала в темноте, глядя в потолок. Детские комнаты, врач и объявление — всё это она знала и раньше, и не оно держало её без сна. Новым было одно: он знал прежде них обеих. Прежде её собственного тела: тогда, у окна, пальцы её ещё сбивались со счёта, а кровати в конце коридора уже ждали. Тело отчитывалось перед хозяином первым, а ей доносило потом, задним числом.

Ей стало холодно, хотя воздух в комнате был тёплым: слишком уж ровно всё встало на свои места. Поделиться было не с кем: Лиза наверняка поняла это куда раньше, ещё в машине по дороге сюда, а остальным обитателям дома открытия не требовались, у них, похоже, вопросов не было с самого начала.

Так, ни на день не сбившись с заведённого порядка, дошло до конца октября: живот опустился, дышать стало легче, а ходить труднее, и Марфа Тихоновна перенесла в детские стопки пелёнок, пересчитанные, судя по аптечной ровности, не один раз.

Схватки у Ани начались глубокой ночью, без предупреждения, словно внутри неё щёлкнул невидимый выключатель. Боль пришла тупой волной снизу живота и отпустила, потом вернулась, короче и злее. Аня лежала, вцепившись пальцами в край простыни, и считала уже не дни, как в то серое утро, с которого всё началось, а паузы между волнами. Сбивалась на сорока. Начинала сначала.

Марфа Тихоновна появилась быстро, одетая, с полотенцем через плечо. Возможно, экономка в эту ночь вообще не ложилась: расписание дома знало эту дату лучше самой роженицы. Под локоть она держала крепко. Аня шла по коридору в одном тапке, второй остался у кровати, и возвращаться за ним никто не стал. Коридор показался длиннее обычного, хотя здесь коридоры и в обычные дни позволяли себе больше, чем разрешала архитектура. Дверь родильной в его конце стояла настежь, и за ней горел резкий белый свет, непохожий на тёплое жёлтое освещение остального дома.

Пахло спиртом и металлом. Бригада в одинаковых зелёных халатах двигалась молча: перчатки, маски, над масками глаза, которые ничего не выражали. Работали так слаженно, точно принимали здесь роды далеко не первый раз. Лампа была прямо в лицо. Аня отворачивалась, и чьи-то пальцы в резине, пахнувшей тальком, поворачивали её голову обратно, мягко и настойчиво. По кафелю звучали быстрые шаги, туда и обратно, у изножья звякал металл о металл.

Промежутки Аня считать перестала: их не стало. Боль пошла одной лентой, без стыков, и где кончалась одна схватка и начиналась другая, отметить было уже нельзя. Она не кричала. Дышала коротко и хрипло, сквозь стиснутые зубы, вцепившись в чужую руку, вложенную ей в ладонь нарочно для этого. Впервые за долгое время чья-то рука была протянута ей, а не к ней. Под поясницей было мокро и холодно. Левую ногу свело от пальцев до колена, и об этой ноге она думала больше, чем обо всём остальном, когда кто-то сказал «тужьтесь». И она тужилась.

Потом всё оборвалось разом, и комнату заполнил новый звук, тонкий и требовательный, которого только что не существовало вовсе.

Первым, что увидела Аня, разомкнув глаза, был Ефгарф. Он стоял у стены, на самом краю света от лампы, и смотрел не на неё, а на ребёнка в руках медсестры, мокрого ещё и кричащего. Стоял, заложив руки за спину, и не подходил, пока ребёнка обтирали. Так смотрят на прибор, который наконец заработал после долгой настройки.

Дверь у него за плечом приоткрылась на ладонь.

— Мальчик, — сказали в щель.

Аня повернула голову. Ребёнка как раз перекладывали, она успела увидеть красную спинку и пятку с размазанным по ней белым, и сказанное не сошлось с тем, что она видела. Дверь уже закрылась. Сходиться оно и не должно было: где-то в другом конце коридора этой же ночью родила Лиза. Сына.

Девочку положили ей на грудь, тёплую, скользкую, кричащую всё тише. Ефгарф шагнул ближе. Открыл рот, Аня увидела, как дрогнули его губы, и успела первой:

— Ксюша.

Хозяин закрыл рот. Взгляд на ней он задержал дольше, чем на чём-либо за все эти месяцы, и не возразил. Уступил легко, даже не переспросил.

У двери на стене висел разграфлённый лист. Медсестра подошла к нему с карандашом и вписала время: 4:15. Соседняя графа осталась пустой, и оставалась пустой до вечера, пока имя не внесли туда чужой рукой. Ефгарфу оно было безразлично, как надпись на таре: содержимое он выбрал сам, а что написано снаружи, относилось к порядку, не к сути.

Обратно её вели вдвоём, под руки. На повороте коридора пришлось остановиться и постоять, и Аня всё это время смотрела в пол, на свой единственный тапок, так и лежавший у её двери.

В комнате она устроила дочь на сгибе локтя. Пеленала малышку Марфа Тихоновна, туго, по-больничному, углом к подбородку, и затянутый край подоткнула дважды. Рука затекала, но Аня её не перекладывала. За стеной, в другом конце коридора, в такой же тишине лежала с сыном Лиза. Аня знала это без всяких слов, так же ясно, как знала когда-то про следы на Лизином горле, о которых та не рассказывала.

Дом молчал иначе, чем прежде. За батареей не капало: звук, к которому Аня успела привыкнуть, пропал, словно уже выполнил свою миссию. Молчала и половица у поворота коридора, которую никто так и не чинил: хозяин этой ночью никуда не шёл, и скрипеть ей было незачем.

От дверей детских комнат, откуда всегда тянулась ждущая, терпеливая темнота, теперь горел слабый свет ночника в форме зайца, купленного, как и всё там, задолго до появления обитателей. Темнота отступила: комнаты дождались своих жильцов, пусть первую ночь те и проводили на материнских руках.

Прижав дочь к себе крепче, Аня закрыла глаза и слушала новую, окончательную тишину дома, который получил то, ради чего был построен. Где-то внизу глухо, всего один раз, стукнула о косяк входная дверь: кто-то из ночной бригады уходил, унося с собой последний чужой звук этих суток.

Глава 5. Конец Ефгарфа

Взвешиваний было уже четыре, грудничков взвешивали по вторникам. Ксюшу клали на кухонные весы с гирьками, Андрея — сразу после неё, с теми же гирьками, и Марфа Тихоновна вписывала полученный вес в тетрадь в клетку, в одну строку, через запятую. У обоих прибавка шла как положено. Гирьки после этого укладывались в коробку, от большой к малой.

Кормления шли по часам. На третьей неделе Ксюша заплакала за десять минут до срока. Марфа Тихоновна не обернулась от верёвки с пелёнками и сказала: «Подождёт». Та подождала.

Пелёнки на просушке экономка проверяла, дотрагиваясь костяшками, по одной, справа налево, и сырую перевешивала ближе к печи. Так же она когда-то, не говоря ни слова, поправляла Ане спину у стола.

В рошу выходили, когда не было дождя. Дальше калитки коляску не катили: на гравии левое колесо забирало вбок, и до травы её несли на руках.

Ночами дети спали тихо. Аня всё равно вставала, подносила к лицу дочери два пальца и держала, пока на них не ощущалось тёплое. Ответ она знала наперёд: в этом доме даже дыхание согласовывалось с расписанием. Но всё равно проверяла.

В тот день Марфа Тихоновна вошла к ней без стука. Стучать здесь было не принято вообще, но прежде экономка никогда не появлялась без дела, объявленного заранее. Теперь она просто открыла дверь и сказала:

— В гостиную. Хозяин зовёт. И ребёнка возьмите с собой.

Сказав, она не ушла. Стояла в дверях и смотрела, как Аня застёгивает на дочери кофту, досмотрела до последней пуговицы и только тогда посторонилась. Так же стояли воспитательницы в интернате в те дни, когда кого-нибудь увозили: у двери, лицом в комнату, с затвержённым наизусть порядком действий. Её ни разу за все эти почти полтора года не звали в гостиную не по расписанию, и одно это отклонение вызывало тревогу.

Камин в гостиной не горел. Аня впервые за всё время увидела его потухшим: серая зола лежала гладким слоем, дрова, приготовленные с вечера, остались нетронутыми у решётки. Пахло воском и старой бумагой. Прежде этот запах терялся под запахом дров и теплом огня, теперь он стоял отдельно, ничем не прикрытый. Свет, жёлтый и тусклый, давало одно бра на стене, и комната казалась меньше обычного, словно стены немного придвинулись друг к другу.

Лиза стояла у окна с Андреем на руках, чуть в стороне, как становилась всегда, когда хотела оставить себе пространство для отступления. Имя сыну месяц назад нашлось так же, как Ксюшино, — само, будто лежало в доме готовым. Марфа Тихоновна застыла у двери, двумя руками прижимая к себе плотную папку из тёмно-коричневой кожи так бережно, словно она была хрупкой и могла разбиться от неловкого движения.

Ефгарф сидел в кресле у потухшего камина. Он не стоял, и уже это было хуже любых слов: за всё время, что Аня знала его, хозяин ни разу не сел в её присутствии первым. Он вставал навстречу и провожал до двери, держался прямо и свободно, не экономя сил.

Теперь он сидел, откинувшись, и руки его лежали на подлокотниках неподвижно, ладонями вниз. Кожа на кистях истончилась настолько, что сквозь неё проступали вены, синеватые и вздутые, а суставы выпирали резко, как у стариков, доживающих девятый десяток.

Лицо тоже осело. Оно не постарело внезапно, а именно осело, будто из-под кожи убрали каркас, который держал черты на местах. Старость взялась за него не постепенно, как обычно бывает у людей, а разом, как подрядчики берутся за объект с жёстко назначенным сроком сдачи.

— Садитесь, — сказал он, кивнув на диван напротив.

Аня села, прижимая Ксюшу к груди. Дочь не заплакала и не завозилась, хотя час кормления приближался, и обычно в это время она капризничала. Девочка смотрела на Ефгарфа

прямо, немигающим взглядом, каким смотрят не младенцы, а люди, узнающие в лице собеседника знакомые черты.

Ефгарф заговорил без предисловий, тем же невозмутимым тоном, каким когда-то объявлял по телефону условия работы.

— Сегодня я умру, — сказал он.

Он не сказал «болен» и не сказал «скоро». Он назвал день, как называют дату поставки. Аня замерла, рука, поглаживающая спинку дочери, остановилась, точно примёрзла.

— Завещание оформлено, — продолжил Ефгарф, не дав тишине протянуться дольше секунды. — Дом, счета, всё имущество переходит вам двоим и детям в равных долях. Документы у Марфы Тихоновны.

Он кивнул в сторону экономки. Та шагнула вперёд и положила папку на низкий столик между диваном и креслом, аккуратно, одним скупым движением, потом отступила обратно к двери. Ни вопроса, ни звука недоумения: так принимают смену на посту, когда всё оговорено загодя и обсуждать нечего.

Аня смотрела на папку и думала о том, что ещё недавно пересчитывала в кошельке двести семнадцать рублей, а теперь ей завещали дом, в котором коридоров больше, чем позволяют стены. Жизнь наконец наладилась. Оставалось выяснить, чем за это заплачено.

Лиза не двинулась с места. Аня скосила взгляд и увидела то же лицо, что за завтраком месяц назад: ни удивления, ни страха, только ожидание продолжения. Возражать хозяину не приходило в голову никому в доме, а начинать это делать в день его смерти было бы уже невежливо.

Андрей на руках у Лизы тоже смотрел на Ефгарфа не отрываясь, и этот взгляд Аня про себя назвала взрослым, не найдя слова точнее. Слово было неправильным, месячному ребёнку неоткуда взять это спокойное, оценивающее выражение, но других слов для этого взгляда Аня не смогла подобрать.

— Вопросы? — спросил Ефгарф.

Никто не отозвался, да он и не ждал ответа. Аня видела это по тому, что хозяин уже поднимался с кресла, опираясь на подлокотники обеими руками, медленно, с усилием, которого прежде за ним не водилось.

Он подошёл к Ане и остановился, глядя на Ксюшу сверху вниз. Смотрел долго, дольше, чем на что-либо на её памяти, и не так, как прощаются, а так, как сверяются с расчётом, ища подтверждения, что всё сошлось. Потом перевёл глаза на Андрея и задержался надолго тем же цепким взглядом приёмщика работ.

Он не сказал детям ни слова, только выпрямился, насколько ещё слушалась его спина, и пошёл к лестнице.

Аня слушала его шаги по ступеням: медленные и мерные, ни разу не сбившиеся, хотя тело, судя по рукам, давно должно было отказать в этой мерности. Шаги стихли наверху, в конце коридора, где горел ночник в форме зайца и стояла запертая дверь. Потом щёлкнул замок, коротко и отчётливо. Этот звук Аня слышала за время жизни здесь множество раз, только всегда он раздавался с другой стороны.

Она сидела на диване, прижимая дочь к груди, и не отпускала её, будто отпустить сейчас значило согласиться с чем-то, на что её согласия никто и не спрашивал.

До вечера дом молчал, как всегда бывало после обеда, в комнатах царила тишина, без единого лишнего звука, словно утром ничего не случилось. Ксюшу Аня уложила после обеда в детской, а сама вышла в коридор. Ходить взад и вперёд казалось легче, чем сидеть в комнате и думать по кругу одно и то же.

Она дошла лишь до середины коридора, до половицы, которая все эти месяцы исправно скрипела под ногой. Половица промолчала — впервые, и Аня ещё не успела удивиться этому молчанию, когда за поворотом раздался звук.

Звук был резким и коротким, как если бы где-то в глубине дома, за коврами и закрытыми дверями, бутылку разбили внутри толстой подушки. Он долетел приглушённым, но не настолько, чтобы принять его за безобидный. Аня замерла и пошла на звук быстрее, чем сама это осознала.

Дверь Лизиной комнаты открылась в ту же секунду, когда Аня поравнялась с ней. Лиза вышла молча, без вопроса на лице. Судя по всему, она слышала то же и поняла это так же, без слов, всем телом. Они пошли рядом, не сговариваясь, мимо зеркал, развешенных так, что в них никто не попадал случайно, и остановились у двери в конце коридора, которую видели всегда закрытой.

Теперь она была открыта. Впервые на Аниной памяти она стояла нараспашку, и ни света ночника, ни привычного для этого дома полумрака за ней не было. Комнату заливал белый, безучастный свет. Светились сами стены, ровно, без мерцания.

Тени от них двоих на пороге не было.

Комната оказалась пустой: голые стены без единой отметины, ни мебели, ни окон, только бетонный пол, серый и холодный на вид, без ковра и даже без плинтусов, без всего, что делает комнату комнатой, а не коробкой. Аня переступила порог одной ногой и сразу вернула её назад: бетон был холоднее, чем пол в коридоре.

Посередине, прямо на бетоне, лежал Ефгарф. Он умирал, и сомнений в этом не было, хотя Аня не могла бы сказать, отчего именно: тело оставалось целым, крови на полу не было, а лицо выглядело безмятежным, как у заснувшего в удобном кресле после долгого дня. Ботинки на нём были те самые, что и утром, и зашнурованы до верхней дырки.

Лиза взялась за её локоть и держала.

Вспышка ударила без предупреждения: сноп света вырвался из груди Ефгарфа, яркий настолько, что Аня зажмурилась. Жар дошёл до порога — плотный, как от печи, которую натопили слишком сильно. Дверная ручка под ладонью нагрелась, но руку Аня не убрала.

Сноп держался в воздухе, не оседая и не рассеиваясь. Потом по нему прошла черта, прямая — невидимый нож разрезал его точно посередине, одним движением и без колебаний.

Половины разошлись сразу, каждая в свою сторону, и обе прошли сквозь стены — стен для них не существовало вовсе: одна метнулась влево, туда, где за поворотом коридора спал Андрей, другая вправо, туда, где спала Ксюша.

Потом наступила тишина, такая плотная, что Аня расслышала, как где-то в трубах капает вода. Этого звука в доме не было уже месяц, с ночи, когда родились дети.

Ефгарф остался лежать на полу, и Аня поняла раньше, чем успела подумать словами: перед ней — просто тело. То, что делало его тем, кем он был, ушло вместе со светом, а то, что осталось, оказалось просто оболочкой, брошенной за ненадобностью. Хозяин выбыл из собственного дома — аккуратно и по расписанию, как всё, что он делал.

Лиза первой сорвалась с места. Аня побежала следом, но не в ту же сторону: у поворота коридора их пути разошлись, Лиза свернула к комнате Андрея, Аня — к комнате Ксюши, каждая бежала к своему ребёнку, будто иначе и быть не могло.

Дверь детской Аня распахнула рывком. Ксюша не спала: лежала в кроватке с открытыми глазами, тихая, ничем не потревоженная, и на лице у неё застыло выражение, какое бывает у сытого ребёнка сразу после кормления, спокойное, отяжелевшее и довольное. Дочь будто не заметила ничего из случившегося минуту назад в другом конце дома: ни звука, ни света.

Аня взяла её на руки. Вес тот же, и тепло то же, и голова легла на сгиб локтя — туда же, куда ложилась всегда.

Ксюша поймала маленькой ладошкой её палец и сжала. Аня потянула палец назад, ребёнок не отпускал. Потянула сильнее — кулак раскрылся ровно настолько, чтобы отпустить, и закрылся обратно, на пустом.

Лицо дочери было то же, и запах кожи тот же.

Лиза встала в дверях детской с Андреем на руках, не переступая порога.

— Он не спал, — сказала она. — И простыня под ним холодная.

Ксюша повернула голову на её голос.

— Мою кормили в двенадцать, — сказала Аня. — А лежала, как сразу после.

Лиза не ответила.

Про беременности, про то, как гладко они шли, про ладонь, под которой ребёнок замирал, ни одна не сказала ни слова. В доме, где ответы лежали готовыми раньше вопросов, спрашивать не было смысла.

Аня прижала дочь к груди. Плечо ребёнка уткнулось ей под ключицу, колено легло в ладонь, локоть повернулся поудобней — дочь прильнула к ней всем телом, так подстраиваются после тысячи повторений. От этой сговорчивости ей стало холоднее, чем от самого отчаянного крика.

Несколько часов после смерти хозяина дом простоял в оцепенении, в каком застывают над известием, которое пришло, но ещё не уложилось в голове. Тело так и лежало в пустой комнате наверху, трогать его никто не решался. Про врача Аня подумала один раз, коротко, и сама поняла нелепость этой мысли: в доме, где о смерти объявляют с утра заодно с прочими делами, врачу делать нечего. Про полицию мысль даже не возникла. Марфа Тихоновна, спустившись вниз с той же кожаной папкой, только заперла дверь на прежний замок, словно домашний порядок распространился и на смерть.

Около полуночи со стороны ворот донёсся негромкий, низкий звук мотора, оборвавшийся быстро: машина, похоже, остановилась, не доехав до крыльца. Аня стояла у окна своей комнаты, укачивая Ксюшу, хотя та давно не плакала: рукам нужно было занятие, которому можно доверять. По гравийной дорожке шли четверо, по двое в ряд, не торопясь и не светя фонарями, словно дорогу знали наизусть.

Гости вошли в дом без стука. Стучать здесь было не принято, и правило, как выяснилось, действовало не только для своих. Дверь внизу просто открылась, следом послышались шаги по мраморному полу холла, уверенные и мерные, не шаги соболезнующих, а поступь людей, имеющих право проходить куда угодно и когда угодно.

Никто не попытался их остановить: ни Марфа Тихоновна, встретившая их у лестницы, ни застывшая в коридоре первого этажа прислуга, ни сама Аня, которая спустилась вниз с дочерью на руках и остановилась на середине ступеней.

Четверо не назвали своих имён и не объяснили, откуда узнали о случившемся: никто из дома им не звонил, никто не отправлял вестей, и всё же они появились спустя считанные часы, как если бы известие само нашло их по каналу, недоступному ни Ане, ни Лизе. Один из них, невысокий, в тёмном пальто, коротко кивнул Марфе Тихоновне, как кивают исполнителю давно расписанной роли, и вся четвёрка разошлась по дому слаженно, как расходятся давно сработавшиеся друг с другом люди.

Пришедшие развели всех по разным углам: Аню — в маленькую комнату у лестницы, которой почти не пользовались, Лизу — в противоположную сторону, а Марфу Тихоновну на кухню, откуда позже донёсся монотонный, глуховатый голос экономки, едва различимый через приоткрытую дверь.

Разговор с Аней вела женщина, сухая и немолодая, с голосом настолько бесцветным, что казалось, будто вопросы она читает с листа, хотя листа перед ней не было.

— Когда он сказал вам, что умрёт? — спросила она, не садясь и не предлагая сесть Ане.

— Сегодня утром. В гостиной.

— Точные слова.

— «Сегодня я умру». Больше ничего.

— Что вы видели в момент смерти?

Аня рассказала про свет, про то, как он разошёлся надвое, и про то, куда ушла каждая половина. Женщина слушала, не делая пометок, но глаза её двигались так, словно она сверяла рассказ с чем-то, известным ей загодя, и искала расхождений.

— Сколько было света? — спросила она снова тем же тоном, каким спросила бы про количество осадков.

— Много. Тёплый. Я почувствовала его от двери.

— Куда он ушёл, вы сказали дважды. Повторите ещё раз.

Аня повторила. Женщина кивнула, но не соглашаясь, а отмечая пункт в невидимом списке.

— Кто из детей проснулся первым?

— Никто из них не спал, когда я вошла. Оба были тихие.

— Кто ещё знает о том, что вы видели?

— Лиза. Марфа Тихоновна была внизу.

Вопросы повторялись и менялись местами, возвращались с других сторон. Женщина искала не факты, факты она, похоже, знала и без Ани. Она искала трещину в рассказе, за которую можно зацепиться. Аня отвечала одно и то же, слово в слово, и с каждым повтором яснее понимала, что перед ней не следователь в обычном смысле, а кто-то, кому о доме и о Ефгарфе ведомо куда больше, чем ей самой. Но кто это именно, ей объяснять не собирались ни сейчас, ни, судя по всему, когда-либо ещё.

В какой-то момент через приоткрытую дверь в коридор донёсся обрывок разговора из кухни. Марфа Тихоновна говорила, не запинаясь и без единой интонации:

— Раскол произошёл в семнадцать сорок по местному. Обе половины ушли в детские без задержки. Иных отклонений не зафиксировано.

Экономка не отвечала на вопросы, во всяком случае, самих вопросов Аня не услышала вовсе. Марфа Тихоновна словно зачитывала готовый отчёт, составленный по форме, знакомой ей одной, о существовании которой Аня прежде не подозревала. Отдельно застряло в голове это «по местному»: выходило, что где-то существовало время и не местное, и в доме жили по обоим сразу. Дверь прикрыли, и разговор оборвался.

Когда допросы закончились, четверо снова собрались наверху, у пустой комнаты. Аня поднялась следом: её никто не звал, но никто и не останавливал. Тело Ефгарфа гости осмотрели молча. Один из них присел на корточки, коснулся лба покойного двумя пальцами, словно проверяя температуру, поднялся и ничего не сказал остальным. Потом все четверо пошли в детские.

У кровати Андрея они простояли дольше всего за эту ночь: все четверо разом, без слов, глядя на ребёнка сверху вниз взглядом кладовщиков, сверяющих предмет с инвентарной описью. Ребёнок не спал. Он смотрел на гостей так же прямо, как утром на отца, не мигая и спокойно, будто понимал, что его тоже разглядывают, и понимал зачем.

У Ксюши всё пошло иначе.

Аня стояла в дверях детской, держась за косяк. Впервые за ночь ей захотелось встать между дочерью и этими взглядами, но она не двинулась с места.

Девочка сначала лежала тихо, как весь день. Потом под молчаливыми взглядами четверых сморщилась, и по щекам покатились слёзы, беззвучно, без всхлипа, просто мокрые дорожки, бегущие по лицу, будто плакать вслух ей запрещал кто-то невидимый.

Один из четверых наклонился ближе, посмотрел ещё секунду, выпрямился и коротко кивнул остальным. Потом вытер большой палец о полу пальто, хотя не касался ни кровати, ни ребёнка.

Больше ничего за эту ночь в детских не произошло.

Вниз гости пошли друг за другом, не держась за перила. Аня спустилась следом до площадки и дальше не пошла. В холле невысокий, в тёмном пальто, остановился у зеркала, поправил воротник и только после этого открыл дверь.

— Свет в холле погасите, — сказала им в спину Марфа Тихоновна.

Никто не обернулся. Гравий захрустел под ногами, шли к машине они снова по двое, мотор завёлся у ворот и стих за поворотом, а хруст ещё стоял в ушах, когда дорожка была уже пуста. Ни про тело, ни про дом, ни про детей посетители ничего не сказали ни Ане, ни Лизе, ни Марфе Тихоновне. Соболезнований, впрочем, тоже никто не высказал.

Свет в холле Аня погасила сама. Выключатель нашёлся не сразу, потому что выключала она его впервые.

Дом остался стоять в темноте.

Наверху она переложила дочь на левую руку, правой стянула с матраса простыню и скомкала. В двух местах — там, где лежала голова девочки, остались следы слёз, ткань не успела высохнуть и была холодной.

За сухой пришлось идти вниз, к бельевому шкафу у кухни. Дверь на кухню стояла открытой. Марфа Тихоновна сидела за столом с папкой на коленях и смотрела перед собой, мимо двери и мимо Ани. Гирьки лежали возле весов, а коробка стояла рядом раскрытой.

В конце коридора наверху горел ночник в форме зайца. Дверь за ним была заперта на прежний замок, и за этой дверью лежало тело человека, который утром объявил день собственной смерти, точно вычитал его в календаре.

Лиза стояла в коридоре с Андреем на руках.

— Дай одну, — сказала она, увидев у Ани стопку белья.

Аня отдала верхнюю. Лиза взяла её, перекинула через плечо и осталась стоять, где стояла.

Спать не легла ни одна из них. Сон в эту ночь не давался, как не даётся он в доме, который сам ещё не решил, кем теперь стал.

Глава 6. Дети на вырост

Ефгарфа похоронили на городском кладбище, в третьем ряду от входа, где старые могилы давно осели и не требовали лишней работы. Гроб опускали четверо — те же, что приходили ночью и ушли до рассвета. Священника не было — заказывать его было некому и незачем. Никто не плакал. Яму засыпали, поставили столбик с жестяной табличкой и разошлись по машинам. Аня знала всё это со слов Марфы Тихоновны, уложившей похороны в две фразы между чаем и пелёнками, и подумала, что удобный ряд у входа на погост покойный, надо полагать, тоже выбрал себе заранее.

Дом привык к жизни без прежнего хозяина быстрее людей. Уже через неделю половицы в коридоре скрипели ровно в шесть утра: так было заведено раньше, и заводить по-новому никто не спешил. Марфа Тихоновна поднималась первой, и шаги её звучали как при хозяине: смерть в пустой комнате без окон была здесь делом, требующим уборки, а не траура.

К семи кухня наполняла дом запахом куриного бульона с лавровым листом. Так пахло здесь задолго до Аниного появления. Экономка никого не спрашивала, как спалось, и ни разу не упомянула ни о бывшем хозяине, ни о ночных гостях. Она варила бульон, кипятила чай и раскладывала сухие пелёнки, стопками, как по линейке. От запаха хлопка и крахмала, смешанного с духом варёной курицы, дом казался живым, как жив любой дом, где готовят еду и стирают бельё. Аня была благодарна за этот запах больше, чем принято благодарить за приготовленный обед, и по утрам задерживалась на кухне дольше, чем требовал завтрак.

Ксюша тем временем делала то, чего ребёнку её возраста не полагалось. Голову она держала твёрдо уже с третьей недели, поворачивая её вслед за шагами в коридоре. По учебникам педколледжа такое умение полагалось месяцам к трём. Ксюше шла пятая неделя.

Аня укладывала её на пелёнку у окна и садилась рядом. Ксюша смотрела на мать, и это не был плывущий младенческий взгляд, вечно соскальзывающий мимо лиц. Взгляд был прямым и не отпускал дольше, чем умеют держать детские глаза. Так смотрит человек, уже понявший главное и не спешащий делиться: торопиться ему некуда.

— Что ты там видишь? — тихо сказала Аня, скорее себе, чем дочери.

Ксюша, конечно, не ответила: какого ответа ждать от месячного ребёнка. Но взгляд был говорящий, и Ане на секунду стало не по себе, а следом — стыдно за эту самую секунду: родной ребёнок не должен пугать одним взглядом. Нянечка в интернате говорила когда-то, что младенцы смотрят на мир, как в чужое окно. Дочь смотрела так, как будто окно принадлежало ей, и что за ним, ей давно объяснили.

Светлая детская, где Аня впервые увидела кроватку с ценником, хранила память о вещах, купленных заранее. Пыли не было: пыль этот дом не признавал. Однажды, поправляя матрас, Аня нащупала что-то плотное, приклеенное с внутренней стороны спинки, где никто не смотрит без причины.

Находка оказалась ещё одним ценником с логотипом сети детских товаров и ценой, на которую в Недописецке жили месяц, если экономить, а некоторые умудрялись ещё и откладывать. Клей вцепился намертво, и бумажка порвалась пополам. Обе половинки Аня скатала в шарик, снесла на кухню, бросила в ведро и придавила картофельными очистками, чтобы ценник не просто исчез, а перестал существовать. Очистки не возражали.

Вернувшись, Аня постояла у кроватки, глядя на дочь, спавшую с приоткрытым ртом, как спят все дети на свете. Кроватка выглядела теперь просто кроваткой, без витринного лоска. По существу, это не меняло ничего, но стало чуть легче. Совесть вообще охотно берёт мелкими купюрами, если крупных не предвидится.

Лизу за кормлением Аня застала случайно: шла мимо тёмной комнаты, где шторы гасили свет так же плотно, как когда-то звук, и дверь стояла приоткрытой.

Андрей ел так, что смотреть было неловко, будто подглядываешь за тем, что для чужих глаз не предназначено. Он не капризничал и не отворачивался, не делал пауз, чтобы взглянуть на мать. Он просто ел, без остановки, как топка, в которую знай подбрасывай, без перерывов. Лиза устроила сына на сгибе локтя и глядела в сторону окна отсутствующе и спокойно, по долгой привычке.

А потом на секунду лицо у неё переменялось. Не нежность вспыхнула на нём и не страх. Что-то иное, чему Аня не подобрала бы имени. Узнавание, может быть. Лиза отвернулась к окну прежде, чем Аня дочитала это выражение, словно вид за стеклом был интереснее собственного сына у груди.

Вечером обе сидели на кухне, как почти каждый вечер теперь, пока дети спали по своим комнатам. Марфа Тихоновна убрала со стола, остались две чашки с недопитым чаем.

— Он много у тебя ест, — вполголоса сказала Аня, глядя в свою чашку.

Лиза ответила не сразу. Она отпила, поставила чашку на блюдце, не звякнув, и лишь потом проговорила, не поднимая глаз:

— Он всегда будет много есть.

В её голосе не было ни жалобы, ни удивления, только факт, произнесённый как прогноз погоды, который знают наверняка и задолго. Аня допила остывший чай. Прогнозы в этом доме сбывались так же аккуратно, как складывались пелёнки.

Иней лёг на стёкла в одну ночь, словно дом разом переделся к зиме, не спросив, готов ли кто-нибудь внутри. Аня заметила его утром. Прошло всего несколько месяцев, а ощущение было, словно минула целая жизнь.

Ксюша к этому времени уже ходила: держалась за край кровати, отпускала руку и делала три-четыре шага, а садилась без шума, мягко, сама выбирая момент. Лепет она пропустила и говорила фразами, с подлежащим и сказуемым: «дай книгу», «холодно там» и «мама сидит».

Аня слушала и не могла решить, радоваться или нет. Соседки по коммуналке на Черновой, где она снимала комнату, хвастались когда-то детьми и внуками: рано заговорил, рано пошёл. У самой Ани гордость за успехи дочери всякий раз натывалась на холодок внутри и не успевала развернуться. Ксюша росла быстрее, чем это чувство успевало копиться, и жаловаться было некому: в Недописецке такую «беду» любая мать сочла бы подарком.

Одежда не поспевала за дочерью. Платице, принесённое Марфой Тихоновной неделю назад с неотпортым магазинным ярлыком, почти сразу пришлось убрать в шкаф: оно сделалось коротким до неприличия. Экономка не сказала ничего, в следующий раз принесла на размер больше, и по её лицу выходило, что дети, растущие как на дрожжах, вполне себе обычное дело, как ежедневный завтрак.

Ксюша тянулась к книгам на нижней полке в гостиной, куда Ефгарф когда-то ставил тома в кожаных переплётах на языке, которого Аня не знала. Дочь брала книгу обеими руками, серьёзно, раскрывала на середине и водила пальцем по строчкам, точно читала, хотя читать в её возрасте не полагалось никому. Аня садилась рядом на пол, и Ксюша иногда поднимала на неё глаза без детской просьбы об одобрении, не спрашивая мать о непонятном.

Когда в комнате становилось тихо, девочка наклоняла голову набок. Она словно вслушивалась в звуки за стеной, которых не слышит никто другой. Аня замирала, тянулась слухом туда же, но не находила ничего, кроме тишины.

А Ксюша явно что-то слышала, и по лицу её проходил лёгкий отклик, а потом она возвращалась к книге: разговор с невидимым собеседником, надо было понимать, закончился на середине фразы. С каждой неделей эти паузы длились дольше.

Аня узнавала в этом терпеливом внимании своё, знакомое до озноба: так она сама ещё в интернате привыкла слушать людей, вылавливая из голоса и молчания произнесённое. Но было там и другое, чему Аня не находила подобия в собственном опыте: спокойствие, слишком

раннее для ребёнка на вид двух лет, покой того, кому времени отпущено больше, чем всем в доме, вместе взятым.

В другой части дома шла своя жизнь. Андрей уже ходил сам, и Лиза перестала носить его на руках: он вырывался, стоило взять его поперёк тела, и предпочитал передвигаться один. Она теперь только следила за ним от окна или двери, и взгляд её был натянут, как нить, которую боятся порвать.

По комнате Андрей двигался не так, как ходят дети, огибая мебель по опыту, полученному вместе с шишками на лбу. Он шёл прямо, задевая плечом шкаф или стул, и не сворачивал: предмету полагалось подвинуться самому. Иногда так и выходило: Аня сама видела, как торшер качнулся, стоило Андрею пройти рядом, хотя мальчик не задел его вовсе. Она не стала задерживать на этом внимание и выяснять, случай это или правило: некоторые вещи в этом доме лучше было оставлять непроверенными.

Как-то под вечер Лиза стояла у окна, спиной к двери, лицом к тёмному стеклу, где не было видно ничего, кроме отражения комнаты. Руки она сложила на груди: правая ладонь на левом предплечье, пальцы сжаты, точно удерживали что-то, норовившее вырваться.

Аня шла мимо открытой двери с чашкой чая и остановилась. Андрей был в другом конце комнаты, разглядывал щель в паркете, не оборачиваясь на мать и ничего не прося. Между ними лежало немое и ничейное пространство: Лиза не звала сына, Андрей не тянулся к матери, и расстояние это входило в порядок, нарушать который никому не приходило в голову.

Постояв, Аня пошла дальше, унося остывающий чай, и постаралась не думать об увиденном, но картина — женщина у тёмного окна и мальчик в дальнем углу — ещё долго стояла перед её глазами.

Весна пришла в дом раньше, чем в город: сквозь щели в рамах тянуло сырым ветром, под окнами стояли натёкшие за ночь лужи. Аня открыла форточку и почувствовала запах оттаявшей земли: единственный запах, не подчинявшийся здесь ни Марфе Тихоновне, ни распорядку, а приходивший сам, принесённый весенним ветром.

Ксюша выглядела теперь лет на десять или двенадцать: посторонний спросил бы, в каком она классе. Она сидела за столом без подушки и без чужой помощи, наливала чай, придерживая крышку чайника, как взрослые, годами повторявшие один и тот же жест. Читала она много: брала толстые тома, устраивалась в кресле у окна и листала неторопливо, без детского нетерпения узнать, чем закончится история.

Аня разговаривала с дочерью осторожно, и не страх был причиной: каждое резкое слово грозило спугнуть хрупкое, едва устоявшееся между ними равновесие, и тогда девочка ушла бы в себя ещё дальше, чем уже ушла.

— Тебе не холодно тут сидеть? — спросила она, увидев дочь у окна, где Ксюша читала, поджав ноги.

— Нет, — ответила Ксюша, не отрываясь от страницы. — Здесь сквозняк только снизу, а я сижу выше.

Ответ был выстроен точно, по-взрослому. Такое говорят составители смет на отопление. Аня ждала обычного детского «не знаю», а получила справку о сквозняках, и ей осталось кивнуть и отойти, будто разговор состоялся так, как должен был.

Андрей к весне выглядел на четырнадцать или пятнадцать. Плечи раздались шире подростковых, тёмные волосы сами лежали назад. А взгляд сложился особый: про такой в интернате, как помнила Аня, девочки шёпотом говорили «взрослый», не умея объяснить, что делает его таким, кроме желания отвести глаза первой.

За столом Марфа Тихоновна ставила перед ним тарелку за тарелкой, не спрашивая, наелся ли он. Суп, картофель с мясом, снова мясо без гарнира и густая каша с маслом. Она подавала всё это невозмутимо, как истопник, подбрасывающий дрова и следящий за тягой, и Андрей съедал каждую порцию дочиста, без пауз, глядя в одну точку на скатерти.

Аня, сидевшая напротив с Ксюшей, ловила себя на том, что считает тарелки, как когда-то свои двести семнадцать рублей, и однажды всё-таки досчитала: пять за обед, хлеб отдельно, его Андрей брал ломтями. Итог в обоих случаях не сулил ничего хорошего. Слова Лизы «он всегда будет много есть» оказались не преувеличением, а будничным описанием происходящего теперь три раза в день. В этом доме вообще не пользовались преувеличениями: всё сказанное сбывалось в исходной редакции.

Лиза сидела рядом с сыном и смотрела, как он ест: провожала взглядом руку с ложкой, работу челюстей и убывающую еду в тарелке. Между третьей и четвертой лицо у неё дрогнуло и застыло. Аня уловила это краем глаза и не сразу поняла, откуда ей знакомо такое выражение.

А потом вспомнила: оно было из Лизиных ночей первых месяцев, когда в конце коридора щёлкал замок её двери. За щелчком наступала тишина, плотная и ватная, а по утрам Лиза выходила к столу с неестественно прямой спиной, собранной усилием воли. Самого лица Лизы в те ночи Аня не видела ни разу, только слышала тишину за стеной да примечала перемены за завтраком, и всё же узнала это выражение безошибочно, как узнают по трём нотам мелодию, годами доносившуюся приглушённой.

Выражение не несло ни нежности, ни отвращения в чистом виде: это был тяжёлый сплав, в котором оба чувства слились так тесно, что различить их было невозможно, а признать такое чувство к собственному сыну Лиза не согласилась бы никогда.

Лиза почувствовала взгляд Ани раньше, чем та успела отвести глаза. Повернула голову медленно и посмотрела прямо, с ироничным прищуром, сохранившимся с первого дня их знакомства, когда обе ехали сюда в машине, только прежней лёгкости в нём больше не было: она стёрлась, как краска на вывеске под многолетним дождём, когда форма букв едва угадывается.

— Не смотри так, — сказала Лиза коротко. — Я сама знаю.

Добавлять она ничего не стала и вернулась взглядом к сыну, а Андрей молча отставил пустую тарелку на край, освобождая место для следующей, которую экономка уже несла из кухни.

Лето кончилось быстро: сначала стояла духота, такая густая, что липы в роще сутками не шевелились, а потом в одну ночь похолодало, и к утру трава поседела от изморози, словно время в доме сверялось со своим счётом, куда более спешным, чем календарь.

Ксюша к осени выглядела на восемнадцать. Тонкие черты, светлые волосы, которые она подстригала теперь сама: Аня видела однажды, как дочь у зеркала подравнивает кончики, ни разу не примерившись дважды. Андрей рядом выглядел ещё старше: плечи развернулись окончательно, лицо потемнело, будто от загара, которому взяться в доме было неоткуда, разве что безымянный источник, питавший светом коридоры без окон, влиял так теперь и на кожу.

Однажды вечером Марфа Тихоновна разложила бумаги на кухонном столе, когда обе женщины допивали чай. Бумаг было немного, и лежали они в строгий ряд, словно не для чтения, а для подписи: медицинские бланки без шапки поликлиники, заполненные убористым почерком врача, что приезжал на осмотры, и два паспорта в тёмно-бордовых обложках, лежащие один к одному.

Экономка подтолкнула паспорта к Ане буднично, как передают через стол солонку, и вышла из кухни, не дожидаясь вопросов.

Аня взяла тот, что лежал ближе. Картон холодил пальцы и пах свежей типографской краской: документ, у которого ещё не было прошлого.

Фотография за ламинатом смотрела прямо на неё: молодая женщина лет двадцати, светловолосая, с тонко очерченным лицом, с тем взглядом, знакомым с первых недель дочери: внимательным, не мигающим на камеру и направленным мимо объектива на того, кто разглядывает. Дата рождения, отпечатанная синим казённым шрифтом, отстояла от сегодняшнего дня на восемнадцать лет.

Аня вглядывалась в фотографию долго. Не потому, что не узнавала дочь: она знала каждую её черту, каждый изгиб бровей. А потому, что число не сходилось ни с чем, что она помнила собственным телом: ни с ночью родов и месяцами после, ни с самим человеческим счётом времени. Бумага утверждала, что Ксении восемнадцать. Тело помнило, что год.

Дальше в графе стояло имя, которое она сама выбрала в родильной комнате в конце коридора, когда девочка лежала у неё на руках, ещё тёплая от материнской утробы: Ксения. И Анина фамилия: Савельева. Ксения Савельева. Ничего чужого, придуманного в кабинете с печатями: только то, что Аня вложила в дочь с первого дня и ни разу не брала обратно. Паспорт она закрыла аккуратно, как когда-то, ещё на Черновой, закрывала книги, которые не хотела дочитывать.

Бордовая книжица легла на прежнее место, к своей соседке, и Аня сложила руки на коленях. Ни возмущения, ни вопроса внутри не было, только знакомая усталая ясность, приходившая всякий раз, когда очередная деталь вставала в свой паз без лишних слов. Спрашивать было не у кого: кухня давно опустела.

Из тёмной части дома, из-за поворота коридора, донёсся тяжёлый, отчётливый скрип ножек стула по деревянному полу. Не тот вежливый, каким отодвигают стул, стараясь никого не потревожить, а хозяйский, каким двигают свою мебель, без обязанности подстраиваться под чужое присутствие. Звук повторился и стих, и дом снова замолчал, глухо и надолго, как затихал теперь каждый вечер, дожидаясь своего часа, о котором Аня старалась не думать дольше, чем нужно, чтобы дожить до утра.

Глава 7. В школе недописецких пионеров

Утро выдалось из тех, что случаются в Недописецке в начале сентября: воздух ещё держал тепло, но в тени уже стоял холодок — лето не хотело уступать осени, несмотря на календарь. Календарей лето вообще не признавало, в отличие от школы, которая жила исключительно по ним.

Аня шла по Проектируемому проезду и вела в школу двоих. Десять месяцев назад она держала обоих на руках, каждый весил меньше трёх килограммов, теперь же она их вела, и слово «вела» означало просто «шла рядом» — за руку таких не берут. У других матерей на этот путь уходит семнадцать лет. У Ани ушёл неполный год, и разницу с ней никто не спрашивал.

Ксюша шла слева и смотрела перед собой так, словно дорога была знакома ей давно. Андрей держался чуть позади, сунув руки в карманы, и смотрел по сторонам безразлично, как путешественник, заранее решивший не запоминать встречные пейзажи.

В школу обоих записала Марфа Тихоновна: к паспорту, сказала она, положен аттестат. Возражать ей не стали. Экономка в этом доме всегда знала, что кому положено.

Школа показалась из-за поворота раньше, чем Аня успела к ней внутренне приготовиться. Трёхэтажное здание в жёлтой штукатурке: один угол фасада выглядел светлее остального. Над входом висела вывеска с двумя выгоревшими буквами: «Средняя школа имени недописецких пионеров». Пионеров в городе не водилось уже лет тридцать, но школа хранила им верность, как вдова, которой пенсию платят только по фамилии давно усопшего супруга.

Колоннада у входа была короче самого входа, и здание казалось придавленным сверху, словно шапка, севшая после стирки. За квартал от школы уже тянуло особым духом мокрых резиновых сапог и хлорки, который осел в этих стенах навсегда и от погоды не зависел.

У ворот Аня остановилась. По дорожке к главному входу тянулись ученики по двое и по трое, с рюкзаками и телефонами. На новеньких никто не смотрел. В толпе замечают тех, кто старается выделиться, а эти двое не старались вовсе.

— Ну, — сказала Аня, — вот и школа.

Фраза вышла глупой, и Аня услышала это сама. Так говорят «вот и море» тому, кто видит его впервые, но оба её спутника выглядели так, будто видели уже всё.

Ксюша кивнула, не улыбнувшись и не нахмурившись, ровно и по-взрослому спокойно, как делала теперь всё. Аня положила ладонь ей на плечо, легко, на секунду задержав пальцы.

— Береги себя, — сказала она тихо, почти не разжимая губ.

Тем же голосом она когда-то говорила себе в комнате на Черновой, что так продолжаться не может. Обе фразы звучали молитвами человека, которого молиться не научили.

Ксюша посмотрела на мать прямо, без слов, и в этом взгляде было то, чему Аня за год так и не подобрала названия: не благодарность и не удивление, а узнавание, будто то, что говорила мать, дочери было давно известно.

Андрею Аня ничего не сказала, да он этого и не ждал: прошёл мимо неё к воротам, не оборачиваясь. Провожающих у него не было никогда. Аня смотрела ему вслед и чувствовала то же, что за столом, наблюдая, как он ест. Страх в этом не было, отвращения тоже. Была настороженная неловкость, для которой в материнском словаре не нашлось определения.

Оба скрылись за школьной дверью почти одновременно, хотя шли не рядом. И по коридору шли на расстоянии, не сократив его ни на метр.

В доме за рощей Лиза стояла у окна и смотрела на дорогу к воротам. Штору она не отдернула до конца, держала край пальцами, будто боялась, что сын заметит движение и обернётся. Андрей не обернулся. Он прошёл по гравийной дорожке, вышел за ворота и свернул на просёлок к шоссе.

Лиза провожала взглядом фигуру с рюкзаком, пока та не скрылась за поворотом. Матери в таких случаях машут вслед. Лиза стояла прямо, как стояла всегда, и только пальцы на шторе разжались не сразу.

Кабинет литературы был на третьем этаже, в конце коридора. Портрет Гоголя висел между окном и доской и провисел там, судя по всему, лет двадцать. Кто-то давно пририсовал классику усы шариковой ручкой, кто-то позже добавил вторые поверх первых, крупнее и гуще. Оба слоя оставались нетронутыми: школьная традиция охраняла их надёжнее, чем государство берегло самого Гоголя.

Андрей сел за последнюю парту у окна, никого не спросив: такие, как он, места занимают сами. Ксюша выбрала парту в ряду, ближайшему к двери, и положила перед собой тетрадь и ручку.

Одноклассники рассаживались по местам, привычным ещё с прошлого года. Рядом с Андреем и Ксюшей не сел никто, а стулья ближних парт оказались отодвинуты подальше, образуя вокруг новичков проход, которым пользоваться не собирались.

Сдвинутые стулья Ксюша заметила сразу, но не удивилась. За год она привыкла, что пустота вокруг них с братом образуется сама, без чьих-либо усилий. Ближние парты так и простояли свободными до самого звонка.

Андрей учебник не открывал. Он разглядывал девушек, переводя взгляд с одной на другую, медленно, подолгу задерживаясь на каждой: черты лица, изгиб шеи и посадка блузки. Меню читают так же: сверху вниз, строка за строкой, не сомневаясь, что выбор в конце концов будет сделан.

Одна из девушек почувствовала взгляд раньше, чем увидела. Она обернулась быстро, словно её окликнули по имени, и отвернулась, в один миг покраснев до самых ушей.

Учительница вошла после звонка, положила журнал на стол и раскрыла его, пробегая глазами список фамилий.

— Савельева, — прочитала она.

— Здесь, — ответила Ксюша, не поднимая головы.

— Аверин, — на этой фамилии учительница споткнулась и произнесла её ещё раз, чуть медленнее, словно не была уверена, что запомнила с первого раза.

С задней парты донеслось короткое «здесь», и её палец побежал вниз по списку, не задержавшись дольше секунды. Инстинкт самосохранения у педагогов развит лучше, чем принято думать: он просто маскируется под невнимательность.

После переключки объявили тему урока: «Ранняя проза Гоголя». Ксюша слушала не столько учительницу, сколько сам класс. О людях другой породы школьная программа сведений не давала. Слушать без усилий она научилась ещё в детской, вылавливая из тишины дома звуки, которых никто больше не замечал. Класс шумел иначе, чем дом, но на отдельные голоса раскладывался ничуть не труднее.

Она слышала, кто шепчется с соседкой, кто оглядывается на заднюю парту, тут же отводя глаза, будто застигнутый за неприличным. Кто краснеет без причины, а кто бледнеет и сидит неподвижно, стараясь не смотреть туда, куда хотелось взглянуть больше всего.

Пара девушек через проход обменялась взглядами и едва слышным смешком, относящимся к новенькому. Смешок оборвался сам, когда Андрей повернул голову на звук. Он ничего не сказал и не изменился в лице, просто посмотрел в ту сторону, и обе замолчали разом, будто кто-то одним движением выключил радио.

Ксюша видела это со своего места. В классе никому не приходило в голову простое: её брат ещё ничего не сделал, он пока только читал меню.

Обернувшись от доски, учительница встретилась глазами с Ксюшей. Та смотрела прямо и неподвижно. Учительница замерла с мелом в руке, моргнула и продолжила фразу с середины. Класс не заметил. Он вообще редко слушал, что она говорит, и впервые за годы эта глухота её выручила.

Мел скрипел неровно, роняя крошки на желобок внизу доски. Кто-то листал тетрадь громче, чем требовалось, кто-то шептался, обрывая разговор, когда учительница поворачивалась. Андрей всё так же разглядывал класс, лицо за лицом, не спеша: времени впереди у него было больше, чем у всех остальных вместе взятых.

Столовая была на первом этаже в конце коридора, от её двери по всему коридору тянуло варёной капустой и компотом. Смесь въелась в стены так прочно, что пережила бы и само здание.

Длинные столы покрывала клеёнка с отставшими уголками. На раздаче лежали алюминиевые подносы, поцарапанные и помятые: их роняли годами, а менять не думали. Линолеум под ногами блестел, как мокрый, даже когда был сухим, — летом его выкрасили половой краской, чтобы не менять.

Андрей взял себе тарелку гарнира с котлетой, потом вернулся к раздаче за второй порцией. Раздатчица в сеточке на волосах молча пробила чек и подвинула тарелку через стойку. За годы у котла она насмотрелась всякого аппетита у детей и головы от кассы не подняла. Он сел, а через минуту снова поднялся за компотом и взял два стакана вместо одного. Очередь позади не возмутилась, только один парень отступил в сторону, пропуская его вперёд, и отвёл глаза.

Новенький ел быстро, не поднимая глаз от тарелки. Вилка двигалась ровно и без пауз, ни слова, ни кивка соседям, словно еда занимала его внимание целиком. В сущности, так оно и было. Вилка по тарелке скребла всё чаще и громче.

Соседи по столу отсаживались по одному, тихо. Сначала девушка напротив вспомнила, что её ждёт подруга, и унесла свой поднос на другой конец зала. Парень слева ушёл за забытой тетрадью и не вернулся. Скоро вокруг Андрея стал незанятым почти весь стол, хотя за соседними сидели локоть к локтю. Причины у всех были разные. Подносы один за другим уносили к другим столам.

Маленький стол на двоих в углу обычно пустовал, и Ксюша заняла его одна. Поднос перед ней стоял почти нетронутым. Она съела несколько ложек супа и смотрела через зал туда, где брат промакивал соус хлебом, подчищая тарелку до блеска. Тарелка после него была чище, чем до раздачи.

Он отставил пустой поднос и потянулся к соседнему, принадлежащему парню, который последним оставался с Андреем за одним столом. Тот как раз отложил вилку ради телефона. Андрей молча придвинул к себе его тарелку. Парень удивлённо поднял глаза и ничего не сказал. Руку с телефона он убрал быстрее, чем нужно, и есть больше не стал, хотя только что явно собирался доесть. Ладонь его так и осталась лежать на краю стола.

Ксюша наблюдала издали, держа ложку над супом. Такое она видела не в первый раз: дома за столом происходило то же, только там отсесть было некуда. Она пыталась понять, что заставляет людей уступать ему еду без слова возражения. Если бы дело было в страхе... Но испуганных лиц за столами не было. Оставался только лёгкий холодок в животе, знакомый ей ещё с кровати, из которой она слушала дом.

После обеда классная руководительница раздавала ученикам бланки диагностического ЕГЭ. Рядом лежала инструкция, набранная тем же шрифтом, каким школа печатала всё, что считала важным.

— Работаем самостоятельно, — сказала классная, пуская листы вдоль парт. — Время засекаю по часам, тридцать минут.

Андрей полистал бланк без интереса и положил на колени, не притронувшись к карандашу. Он смотрел в окно, во двор с флашштоком. Государство проверяло готовность выпускников к взрослой жизни. К его взрослой жизни у государства вопросов пока не было.

Ксюша заполняла бланк методично, отмечая варианты ровными пометками. Работа шла быстро, но глаза то и дело отрывались от листа: к двери кабинета, к окну и к склонённым затыл-

кам одноклассников. Парень поблизости оглядывался в конец ряда: не смотрит ли Андрей в его сторону.

Перевернув страницу, она снова подняла глаза, обводя ими класс. К клеткам бланка вернулась только после этого. Со стороны это сходило за рассеянность. На деле же она делала то же, что брат за обедом. Только её меню состояло не из лиц, а из звуков и движений, и брать из него она себе не позволяла.

У школьных ворот Аня стояла задолго до конца уроков: ждать на месте казалось легче, чем дома. Волноваться, как все матери, она не научилась: ремесло материнства она постигала экстерном, и кое-что оказалось пропущенным.

Ученики выходили шумно, перекрикиваясь через двор. Ксюша появилась среди последних, с рюкзаком на одном плече. Увидела мать, не заторопилась и не улыбнулась, подошла и встала рядом.

— Андрей где? — спросила Аня, оглядывая редющую толпу у выхода.

— Ушёл раньше.

Аня кивнула и не спросила куда. Есть вопросы, которые задают, только когда готовы услышать ответ; за полтора года в доме она это выучила. К этому ответу она готова не была, потому не спрашивала.

Дома Андрей уже сидел в гостиной. Он не пришёл, он просто был здесь, как бывал везде: без предупреждения и объяснений.

За ужином Марфа Тихоновна накрыла на четверых и, расставив тарелки, ушла на кухню: сама она за этот стол не садилась никогда. Аня разлила чай и села на привычное место, придвинув хлеб ближе. Лиза устроилась чуть в стороне со своей чашкой, к еде не притрагивалась и не сводила с сына тяжёлого неподвижного взгляда, как каждый вечер теперь.

— Как расписание, нормальное? — спросила Аня, повернувшись к Андрею через стол. — Не тяжело будет заниматься пять дней подряд?

— Нормальное, — сказал он, не отрываясь от еды, и потянулся за куском мяса.

— Литература первым уроком каждый день?

— По вторникам вторым.

Он отвечал коротко, не взглянув на неё ни разу, и Аня замолчала первой, не найдя больше, о чём спросить. Разговор о расписании был единственным доступным ей жанром материнской беседы, и она держалась за него, как держатся за перила гнилой лестницы: не ради опоры, а чтобы рука была занята.

Она смотрела на его руки, на точные движения без суеты, на тёмные волосы, зачёсанные назад, и широкий разворот плеч. Такой разворот она видела когда-то у другого, сидевшего за этим же столом с газетой. И на секунду встал перед глазами тот вечер: сноп света, вырвавшийся из груди лежащего на полу тела, линия, разрезавшая свет ровно пополам, и половина этого снопа, метнувшаяся сквозь стену туда, где спал в кроватке крошечный мальчик, ещё не знавший, что в него вошло.

В доме сменились уже две горничные. Первая уволилась зимой, коротко сообщив Марфе Тихоновне, что нашла работу ближе к городу, и больше не появлялась. Вторая продержалась до весны и ушла без объяснений, оставив расчётную книжку на столе в прихожей. Официальные причины у обеих выходили разные. Настоящая была одна: дом, в котором дети вырастали между двумя уборками. Уходили они отсюда быстро, не оглядываясь.

Наташа, третья, держалась дольше и дотянула до августа, до той недели, когда тело Андрея догнало наконец его паспорт. Как-то раз она зашла в гардеробную за чистым бельём. Из-за её спины возник Андрей. Он прижал девушку лицом к дверце шкафа, одной рукой задрал подол платья, другой стянул трусики и вошёл в неё сзади. Она пыталась кричать, но он прикрыл ей рот ладонью. Завершив, он отпустил её и вышел из комнаты, словно заходил проверить, разложено ли бельё по полкам.

Наташа не пожаловалась ни Марфе Тихоновне, ни матери Андрея, ни себе самой. Молчание её было из того же материала, из какого была сделана щедрость парня, отдавшего в столовой свою тарелку: Андрею уступали раньше, чем успевали понять, что уступают. У Ефгарфа это стояло в договоре отдельной строкой и называлось пунктом седьмым. Сын обходился без договора.

С тех пор Наташа старалась не задерживаться в доме до темноты, ссылаясь то на расписание автобуса, то на больную мать, и считала дни до расчёта. Следы оставались только на дверных косяках да на накрахмаленном переднике: отпечатки пальцев и пятна слёз.

Марфа Тихоновна нанимала новых горничных быстро, через агентство в области, и с новенькими о причинах ухода прежних не заговаривала. Выдавала форму, показывала расписание уборки и объясняла, куда носить еду, а куда не входить без стука. Инструктаж был подробным, но не спасал никого.

Наташа, вошедшая теперь в столовую с подносом хлеба, обошла стол по широкой дуге, огибая угол, где сидел Андрей. Она поставила хлеб на самый край, ближе к Ане, отступила спиной вперёд, не отворачиваясь от стола, и только у двери повернулась и вышла быстрым шагом.

Следом в дверном проёме со стороны кухни показалась кухарка с кувшином воды. Увидев Андрея, она остановилась и ушла обратно, пробормотав про забытые салфетки, хотя салфетки лежали стопкой у края буфета. В этом доме их забывали чаще всего прочего.

Лиза проследила взглядом за кухаркой, медленно, от удаляющейся спины к сыну и обратно, и ничего не сказала. Чашку она поставила на блюде беззвучно, как ставят вещь при спящем в соседней комнате, и снова взяла в руки, не поднося ко рту.

Аня тоже всё видела: и широкую дугу, и пятящиеся шаги, и торопливые ненатуральные предлоги. Она перевела глаза на свою тарелку и взяла вилку, но есть не стала, просто держала её, глядя перед собой. Впервые за десять месяцев она спрашивала себя не «Что с ним такое?», а «Что я буду делать?»

Никто за столом не произнёс об этом ни слова. Марфа Тихоновна убрала пустое блюдо из-под мяса и вышла так же неслышно, как выходила всегда. Андрей потянулся через стол за третьим куском хлеба, разломил пополам и собрал коркой остатки соуса со дна тарелки. Глаз он не поднял ни на Аню, ни на мать, ни на дверной проём, за которым скрылась женщина с кувшином. Он был сосредоточен на еде, и ему было хорошо.

Глава 8. Просьба соблюдать спокойствие

Ларёк на углу Советской и Заводской торговал второй десяток лет, и вывеска «Роспечать» выпвела до состояния, когда буквы читаются скорее по памяти, чем по факту. Продавщица, женщина лет пятидесяти в синтетическом жилете поверх свитера, скинула пачку свежих «Недописецких ведомостей» на стопку вчерашних, нераспроданных. Стопка поехала вбок и накрыла позавчерашний выпуск с прогнозом, который так и не сбылся. Прогнозов тут никто и не ждал: газету брали по привычке, вместе с сигаретами, и разворачивали уже дома, на кухонной клеёнке.

На первой полосе стояла фотография, зернистая, снятая явно на телефон с другой стороны улицы: жёлтая лента между двумя столбами, за ней силуэты людей в форме на фоне бетонного забора овощебазы. Подпись набрали крупно и без единой подробности: «Происшествие!», а далее — номер страницы, на которой можно узнать, что же произошло. Но на той странице заметка занимала полстолбца и ясности в «происшествие» не вносила.

У прилавка стояли двое, мужчина в рабочей куртке и женщина с сумкой на колёсиках, ходившая за хлебом через день и знавшая весь квартал по именам.

— Слышала? — женщина понизила голос, хотя вокруг не было никого, кроме продавщицы и мужчины в рабочей куртке. — На рынке девчонку нашли...

— Да брось! — отозвалась продавщица, не отрываясь от газетной стопки. — Опять слухи. У нас тут каждую неделю кого-то находят, то в переулке, то у гаражей.

— Нет, вон табло пишет.

Женщина кивнула на противоположный дом. Табло администрация повесила три года назад под бегущую строку с погодой и датами выборов. На данный момент оно который день гоняло одну и ту же фразу заглавными буквами, без знаков препинания: «В РАЙОНЕ РЫНКА ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ СПОКОЙСТВИЕ». Строка доходила до края, гасла на секунду и начиналась заново, с того же «В РАЙОНЕ...»

Мужчина отсчитал мелочь, звякнув монетами о прилавок, и продавщица толкнула сдачу в окошко щербатой витрины. Из открытого окна над ларьком доносился звук телевизора, каким полнились в городе все окна. Только сегодня в бубнящем голосе диктора различалось слово «ощепление», повторённое дважды за минуту, и оба раза после него шла пауза.

Пахло мокрым асфальтом, хотя дождя не было со вчерашнего утра. Оттуда, где кончалась улица и начиналась дорога на рынок, тянуло гнилой капустой. Запах овощебазы здесь витал всегда, сюда горожане приходили за картошкой или луком, но с этой недели запах ни у кого уже не связывался с едой. Женщина поморщилась и потянула носом воздух ещё раз, проверяя, не ошиблась ли. К дому она пошла быстро, волоча за собой сумку на колёсиках. Сумка подпрыгивала на стыках бетонных плит.

Дорога её лежала через Комсомольскую, и у подъезда двенадцатого дома она заметила компанию из четырёх девушек, которые расходились по домам в девять вечера. Время для этого было непривычное: обычно девушки на скамейке досиживали до полуночи, курили втихаря, обсуждали учителей, парней и то, что показывали ночью по телевизору.

Сегодня одна из них охнула над экраном телефона и произнесла что-то вроде «Мама пишет, пора домой», уже поднимаясь со скамейки. Остальные, не сговариваясь, тоже полезли за телефонами, и через минуту все четверо шли к своим подъездам, не оглядываясь друг на друга. Сообщения пришли почти в одну минуту, и ни одна не стала дочитывать своё до конца.

У окна на третьем этаже того же дома стояла женщина, слегка отодвинув штору. Она смотрела вниз, на освободившуюся скамейку, и делала это уже третий раз за час, хотя дочь давно сидела за учебниками в соседней комнате, и девочке ничто не грозило.

Штора опускалась обратно, мать отходила от окна, потом снова подходила и снова отодвигала край занавески. Скамейка внизу оставалась пустой, окурки под ней никто не подобрал. Привычка смотреть на двор завелась на этой неделе и вросла в вечер так же прочно, как вьелся в стены запах с овощебазы.

На Строительной улице, там, где три года назад заморозили стройку поликлиники и с тех пор так и не возобновили, вход на территорию недостроя заперли на засов. Засов был толстый и ржавый, навешенный поверх обычного замка: одного замка кому-то показалось мало. Лечить в этом здании так и не начали, зато запирать научились на совесть.

Перед входом висела полицейская лента, натянутая между арматурой крыльца. Лента провисла под собственной тяжестью, и нижний край её лежал на бетонной плите, мокрой от вчерашнего дождя. Местные давно знали эту стройку как место, куда ходят подростки курить и распивать, но теперь двор перед недостроенным зданием стоял пустой, и даже голуби, обычно обседавшие ржавую арматуру, куда-то делись. Под арматурой белел сухой помёт, а в пыли крыльца отпечатались следы ботинок, крупных, не подростковых.

Три точки на карте города: овощебаза за рынком, переулок позади торговых рядов и недостроенная поликлиника на отшибе Строительной. Горожане всю неделю искали закономерность в происшествиях. Возраст жертв разнился на годы, районы не совпадали, и время суток гуляло от вечера до глубокой ночи.

Связывали эти три места одной подробностью и выговаривали её только намёками, понижая голос так, что фраза переставала быть произнесённой и оставалась лишь движением губ: во всех трёх случаях тела нашли не целыми.

Никто не договаривал до конца. Слишком не по-человечески это звучало, слишком неправдоподобно для города, где самым страшным происшествием за последние десять лет считалась поножовщина у пивной на годовщину градообразующего комбината.

Недописецк обходился намёками, слухами и бегущей строкой, а «Недописецкие ведомости» держали на первой полосе фотографию с оцеплением. Редакция и сама не знала, что писать про то, для чего нет привычного слова. В номере под фотографией стояли программа передач и объявление о ремонте теплотрассы.

Кабинет следственного отдела занимал угол на втором этаже райотдела полиции. Штукатурка облупилась пятнами, похожими на карту несуществующего материка, а окно выходило не на улицу, а на глухую стену соседнего корпуса, покрашенную когда-то в жёлтый цвет и с тех пор облезшую до серого. Вид этот майора устраивал. За окном третий год ничего не менялось, только раз в сезон под стеной переставляли мусорный бак.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.